



Евгений Шварц

Сказки для театра
том 2

Обыкновенное чудо
Дракон

Евгений Львович Шварц
Обыкновенное чудо. Дракон.
Серия «Сказки для театра», книга 2

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164018
Е.Шварц Обыкновенное чудо. Дракон.: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-28101-5*

Аннотация

Читатели и зрители знают Евгения Шварца как замечательного драматурга, по чьим пьесам и сценариям созданы всеми любимые спектакли и фильмы. В эту книгу впервые, кроме легендарных сказок для взрослых – «Обыкновенное чудо» и «Дракон», – вошли мемуарные записи из его знаменитого «Дневника» и «Телефонной книжки» – интереснейший документ о времени и литературно-актерской среде, избранные письма жене – настоящая поэма о любви, стихи, шуточная пьеса-капусник «Торжественное заседание». Тексты Шварца, блистательные, остроумные, всегда злободневны. Как сказал Александр Абдулов, снимавшийся практически во всех фильмах по его сценариям, «каждая фраза и слово Шварца пронизаны юмором и сумасшедшей мыслью».

Земная жизнь сказочника закончилась в 1958 году. А сказка его жизни продолжается.

«Великая объединяющая сила сказочного мира не слабеет» – эти слова, сказанные когда-то Евгением Шварцем о Г.-Х. Андерсене, с полным правом могут быть отнесены и к нему самому.

Содержание

Бессмысленная радость бытия	4
* * *	4
Автобиография	5
ЮРИЮ ГЕРМАНУ	7
Из дневника	8
Из Телефонной книжки	12
Из рассказа Даниила Хармса	14
Евгений Шварц	25
Действующие лица	25
Действие первое	26
Действие второе	36
Конец ознакомительного фрагмента.	43



Евгений Львович Шварц Обыкновенное чудо. Дракон

Бессмысленная радость бытия

* * *

Бессмысленная радость бытия.
Иду по улице с поднятой головою.
И, щурясь, вижу и не вижу я
Толпу, дома и сквер с кустами и травой.
Я вынужден поверить, что умру.
И я спокойно и достойно представляю,
Как нагло входит смерть в мою нору,
Как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю.
Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.
Меня тревожит солнце в три обхвата
И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!
Домой хочу. Туда, где я бывал когда-то.
И через мир чужой врываюсь я
В знакомый лес с березами, дубами,
И, отдохнув, я пью ожившими губами
Божественную радость бытия.

[2-я половина 40-х годов]
Евгений Шварц

Автобиография

Евгений Шварц во всех своих изменениях знаком мне с самых ранних лет, и я знаю его так, как можно знать самого себя. Со своей уверенной и вместе с тем слишком внимательной к собеседнику повадкой, пристально взглядывая на него после каждого слова, он сразу выдает внимательному наблюдателю главное свое свойство – слабость. В личных своих отношениях, во всех без исключения, дружеских и деловых, объясняясь в любви, покупая билет на «Стрелу», прося передать деньги в трамвае, он, при довольно большом весе и уверенном, правильном, даже наполеоновском лице, непременно попадает в зависимость от человека или обстоятельств. У него так дрожат руки, когда он платит за билет на «Стрелу», что кассирша выглядывает в окно, взглянуть на нервного пассажира. Если бы она знала, что ему в сущности безразлично, ехать сегодня или завтра, то еще больше удивилась бы. Он по слабости своей уже впал в зависимость от ничтожного обстоятельства – не верил, что дадут ему билет, потом надеялся, потом снова впадал в отчаяние. Успел вспомнить обиды всей своей жизни, пока крошечная очередь из четырех человек не привела его к полукруглому окошечку кассы. Самые сильные стороны его существа испорчены слабостью, пропитаны основным этим его пороком, словно запахом пота. Только очень сильные люди, которые не любят пользоваться чужой слабостью, замечают его подлинное лицо. Сам узнает он себя только за работой и робко удивляется, не смея, по слабости, верить своим силам.

Трудность автопортрета в том, что не смеешь писать то, что в тебе хорошо. Ну слабость, слабость – а в чем она? В том, чтобы сохранить равновесие во что бы то ни стало, сохранить спокойствие, наслаждаться безопасностью у себя дома. Но что нужно для его спокойствия?

Я чувствую, что следует сказать точнее, что разумею я под слабостью. Это не физическая слабость: он моложав, здоров и скорее силен. В своих взглядах – упорен, когда дойдет до необходимости поступать так или иначе. Слабость его можно определить в два приема. Она двустепенна. На поверхности следующая его слабость: желание ладить со всеми. Под этим кроется вторая, основная: страх боли, жажда спокойствия, равновесия, неподвижности. Воля к неделанию. Я бы назвал это свойство ленью, если бы не размеры, масштабы его.

В Сталинабаде ¹ летом 43 года Шварц получил письмо от Центрального Детского театра, находящегося в эвакуации. Завлит писал, что они узнали, что материальные дела Шварца не слишком хороши, и предлагал заключить договор. Соглашение прилагалось к письму. Шварц должен был его подписать и отослать, после чего театр перевел бы ему две тысячи. Шварц был тронут письмом. Деньги нужны были до зарезу. Но его охладила мысль: пока соглашение дойдет, да пока пришлют деньги... И в первый день он не подписал соглашения, отложив до завтра. Через три дня я застал его, полного ужаса перед тем, что письмо все еще не послано. Но не ушло оно и через неделю, через десять дней, совсем не ушло. Это уже не лень, а нечто более роковое. Человеком он чувствует себя только работая. Он отлично знает, что, пережив ничтожное, в сущности, напряжение первых двадцати-тридцати минут, он найдет уверенность, а с нею счастье. И, несмотря на это, он днями, а то и месяцами не делает ничего, испытывая боль похуже зубной.

В этом несчастье он не одинок. Таким же мучеником был Олейников, все искавший, полущутя, способы начать новую жизнь: то с помощью голодания, то с помощью жевания, все для того, чтобы избавиться от проклятого наваждения и начать работать. Так же, по-моему, пребывает в мучениях Пантелеев. Было время, когда в страстной редакторской оргии, которую с бешеным упрямством разжигал Маршак, мне чудилось желание оправды-

¹ Сталинабад – столица Таджикистана Душанбе (прим. сост.).

вать малую свою производительность, заглушить боль, мучившую и нас. У Шварца было одно время следующее объяснение: все мы так или иначе пересажены на новую почву. Пересадка от времени до времени повторяется. Кто может – питается от корней, болеет, привыкая к новой почве. Из почвы военного коммунизма – в почву нэпа, потом – в почву коллективизации. Категорические приказы измениться. И прежде люди, пережив свою почву, либо работали некоторое время от корней, либо падали. А мы все время бодем. Изменения в искусстве несоизмеримы с изменениями среды, мы не успеваем понять, выразить свою почву. Я не знаю, убедительна эта теория или нет, но Шварц некоторое время утешался ею. При своей беспокойной ласковости с людьми любил ли он их? Затрудняемся сказать. Олейников доказывал Шварцу, что он к людям равнодушен, ибо кто пальцем не шевельнет для себя, тем более уж ничего не сделает для близких. Мои наблюдения этого не подтвердили. Без людей он жить не может – это уж во всяком случае. Всегда преувеличивая размеры себя-седника и преуменьшая свои, он смотрит на человека как бы сквозь увеличительное стекло, внимательно.

И в этом взгляде, по каким бы причинам он ни возник, нашел Шварц точку опоры. Он помог ему смотреть на людей как на явление, как на созданий божьих. О равнодушии здесь не может быть и речи. Жизнь его немыслима без людей. Другой вопрос – сделает ли он для них что-нибудь? Сделает ли он что-нибудь? Среди многочисленных объяснений своей воли к неподвижности он сам предложил и такую: «У моей души либо ноги натерты, либо сломаны, либо отнялись».

ЮРИЮ GERMANУ

Ты десять лет назад шутил, что я старик.
О, младший брат, теперь ты мой ровесник.
Мы слышали друзей предсмертный крик,
И к нам в дома влетал войны проклятый вестник.
И нет домов. Там призраки сидят,
Где мы, старик, с тобой сидели,
И укоризненно на нас они глядят,
За то, что мы с тобою уцелели.
За унижения корит пустой их взор,
За то, что так стараемся мы оба
Забыть постылых похорон позор
Без провожатых и без гроба.
Да, да, старик. Запрещено шутить,
Затем, что ныне все пророки.
Все смерть слышали. И боясь забыть,
Твердят сквозь смех ее уроки.

(1945)

Евгений Шварц

Из дневника

14 ноября

Вчера по телевизору была передача обо мне. «Мастер театральной сказки». Я ждал худшего. Говорили Цимбал, Акимов, Зон, Мишка Шапиро. Показали один акт из «Снежной королевы», отрывки из «Золушки» и «Первоклассницы» и один акт «Обыкновенного чуда». Был пролог и эпилог с действующими лицами из моих пьес и сценариев – вот этого я и боялся. Но и это сошло. Было не слишком радостью, не столько лестно, сколько неудобно, но обошлось.

Вчера днем был на студии. Построен герцогский дворец – огромный зал. Идет освоение. Появляется не спеша Вертинская – странное существо: стройная, неестественно худенькая в своем черном бархатном платье. Лицо удлиненное, длинные раскосые зелено-серые глаза, недоброе надменное выражение. Герцогини, выросшие во дворцах, должны быть именно такими – и привлекательными, и отравленными. Альтисидора добродушнее и юнее, но так же тонка и так же поражает ее тоненькая талия и бархатное платье. Мальчик паж стоит, откинув назад свою крупную голову. Лицо с тонкими чертами, черные глаза. Тонкие руки конвульсивно вздрагивают. Ему дали поддержать живую обезьяну, и с ним едва не случился припадок от ужаса и отвращения. Держит обезьяну другой подросток, повыше и попроще. Толстая макака внимательно и просто поглядывает на окружающих, берет с ладони герцогини виноград. Но едва та пробует погладить маленькую голову зверька, макака открывает угрожающе пасть. И возле нее вырастает хозяин, грубиян с пропитой мордой. «Ну ты, корова!» – кричит он и дает обезьяне пощечину. И та смущенно замирает, ссутулившись. И недоброе лицо Вертинской вдруг делается добрым, и, протянув обе руки, она просит: «Не бейте, уж лучше я ее не буду гладить».

7 декабря

Начиная с весны [1937 года] разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии. И никто не убегал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как вести себя: уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город. А будущие враги народа, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне, чуяли, что печать «враг народа» пришибает без отбора, любого, – и стояли на месте, покорно, как быки, подставляя голову. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях: в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи. Нет, этого еще никто не переживал за всю свою жизнь, никто не засыпал и не просыпался с чувством невиданной, ни на что не похожей беды, обрушившейся на страну. Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателя. Мы ели и пили. И смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей, – а что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь – жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. И угрозой позора. Наш Котов совсем замер, будто часовой на карауле при арестованных или обреченных аресту, – в конце концов, разница была только в сроках. Он отворачивался при встречах, словно боясь унизить себя общением с жильцами-врагами. Мыслил только в одном направлении. Борисов пришел жаловаться, что сыновья одной писательницы до трех часов ночи танцуют под патефон, не дают ни работать, ни спать. Котов его выслушал угрюмо и ответил: «Ничего политического я в этом не нахожу».

8 декабря

Затем пронеслись зловещие слухи о том, что замерший в суровости своей комендант надстройки тайно собрал домработниц и объяснил им, какую опасность для государства представляют их наниматели. Тем, кто успешно разоблачит врагов, обещал Котов будто бы постоянную прописку и комнату в освободившейся квартире. Было это или не было, но все домработницы передавали друг другу историю о счастливицах, уже получивших за свои заслуги жилплощадь. И каждый день узнавали мы об исчезновении то кого-нибудь из городского начальства, то кого-нибудь из соседей или знакомых. Однажды, в начале июля, вышли мы из кино «Колосс» на Манежной площади. Встретили Олейникова. Он только что вернулся с юга. Был Николай Макарович озабочен, не слишком приветлив, но согласился тем не менее поехать с нами на дачу в Разлив, где мы тогда жили. Литфондовская машина – их в те годы давали писателям в пользование с часовой оплатой – ждала нас у кино. В пути Олейников оживился, но больше, кажется, по привычке. Какая-то мысль преследовала его. В Разливе рассказал он, что встретил Брыкина, который выразил крайнее сожаление по поводу того, что не был Олейников на последнем партийном собрании. И сказал, чтобы Олейников зашел к нему, Брыкину. Зачем? Я, спасаясь от ставшей уже привычной тревоги за остатками беспечности былых дней, стал убеждать Николая Макаровича, что этот разговор ничего не значит. Оба мы чувствовали, что от Брыкина хороших новостей нельзя ждать. Что есть в этом приглашении нечто зловещее. Но в какой-то степени удалось отмахнуться от злобы, нет, от бессмысленной ярости сегодняшнего дня. Лето, ясный день, жаркий не по-ленинградски, – все уводило к первым донбасским дням нашего знакомства, к тому недолгому времени, когда мы и в самом деле были друзьями. Уводило, но не могло увести. Слишком многое встало с тех пор между нами, слишком изменились мы оба. В особенности Николай Макарович. А главное – умерло спокойствие донбасских дней. Мы шли к нашей даче и увидели по дороге мальчика на балконе. Он читал книжку, как читают в этом возрасте, весь уйдя в чтение.

9 декабря

Он читал и смеялся, и Олейников с умилением и завистью показал мне на него. Были мы с Николаем Макаровичем до крайности разными людьми. И он, бывало, отводил душу, глумясь надо мной с наслаждением, чаще за глаза, что, впрочем, в том тесном кругу, где мы были зажаты, так или иначе становилось мне известным. А вместе с тем – во многом оставались мы близкими, воспитанные одним временем. Нас восхищали такие разные писатели, как Чехов, Брет Гарт, Хлебников, Гамсун (Хлебникова понимал Николай Макарович гораздо лучше, чем я). Для нас были как бы событием личной жизни фильмы «Парижанка» или «Под крышами Парижа». Я знал особое, печальное, влюбленное выражение, когда что-то его трогало до глубины. Сожаление о чем-то, поневоле брошенном. И если нас отталкивало часто друг от друга, то бывали случаи полного понимания, – впрочем, чем ближе к концу, тем реже. И такое полное понимание вспыхнуло на миг, когда показал Николай Макарович на мальчика, читающего веселую книгу. Потерянный рай – и ад, смрад которого вот-вот настигнет. Но погода стояла жаркая, южная, и опять на какое-то время удалось отвернуться от жизни сегодняшней и почувствовать тень вчерашней. Тогда помидоры были редкостью в Ленинграде. Нам удалось купить на рынке привозных. Это еще больше напомнило юг. Но ни в одной лавке в Разливе не нашлось подсолнечного масла. Тогда мы пошли пешком в Сестрорецк. Еще вечером сообщил Олейников: «Мне нужно тебе что-то рассказать». Но не рассказывал. За тенью прежней дружбы, за вспышками понимания не появлялось настоящей близости. Я стал ему настолько чуждым, что никак он не мог сказать то, что собирался. Погуляли мы по Сестрорецку, прошлись по насыпи в Дубках к морю. Достали в магазине подсолнечного масла. Вернулись домой в Разлив. Вечером проводил я его на станцию. И тут он начал: «Вот что я хотел тебе сказать...» Потом запнулся. И вдруг сообщил общеизвестную историю о домработницах и Котове.

10 декабря

Я удивился. История эта была давно и широко известна. Почему Николай Макарович вдруг решил заговорить о ней после столь длительных подходов, запнувшись. Я сказал, что все это знаю. «Но это правда!» – ответил Николай Макарович. «Уверю тебя, что все так и было, как рассказывают». И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай Макарович хотел поговорить о чем-то другом, да язык не повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как все, не может двинуться с места, ждет? О том, что делать? О семье? О том, как вести себя – там? Никогда не узнать. Подошел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в последний раз в окне вагона человека, так много значившего в моей жизни, столько мне давшего и столько отравившего. Через два-три дня узнал я, что Николай Макарович арестован. К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас. От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по песчаным, трудным для проезда улицам Разлива медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины из города за местными и приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. На первом же заседании правления меня потребовали к ответу. Я должен был ответить за свои связи с врагом народа. Единственно, что я сказал: «Олейников был человеком скрытным. То, что он оказался врагом народа, для меня полная неожиданность». После этого спрашивали меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. Так как ничего порочащего Олейникова тут не обнаружилось, то наивный Зельцер, драматург, желая помочь моей неопытностью, подсказал: «Ты, Женя, расскажи, как он вредил в кино, почему ваши картины не имели успеха». Но и тут я ответил, что успех или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством. Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри.

11 декабря

После страшных этих дней чувство чумы, гибели, ядовитости самого воздуха, окружающего нас, еще сгустилось. Мой допрос на заседании правления кончился ничем. Тогдашний секретарь наш потребовал, чтобы я написал на имя секретариата Союза заявление, в котором ответил бы на те вопросы, что мне задавали. Но и в этом заявлении я не прибавил ничего к тому, что с меня требовали. Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот заглядываю. После исчезновения Олейникова, после допроса на собрании, ожидание занесенного надо мной удара все крепло. Мы в Разливе ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем, как лечь, выходил я на улицу. Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы. Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет, – не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей. В город переехали мы довольно рано. И тут продолжалось все то же. Да, Катина болезнь ушла из нашей жизни, но *легче* не стало. В 38 году исчез Заболоцкий.

19 декабря

Кончается съемка «Дон Кихота». Вчера Козинцев решил показать картину в приблизительно смонтированном состоянии работникам цехов – осветителям, монтерам, портнихам. Полный зал. Утомленные или как запертые лица. Как запертые ворота. Старушки в платочках. Парни в ватниках. Я шел спокойно, а увидев даже не рядового зрителя, а такого, который и в кино не бывает, испугался. Девушки, ошеломленные собственной своей судьбой женской до того, что на их здоровенных лицах застыло выражение тупой боли. Девушки развязные,

твердо решившие, что своего не упустят, – у этих лица смеющиеся нарочно, без особого желания, веселье как униформа. Пожилые люди, для которых и работа не радость и отдых не сахар. Я в смятении.

Как много на свете чужих людей. Тебя это не тревожит на улице и в дачном поезде, но тут, в зале, где мы будем перед ними как бы разоблачаться – вот какие мы в работе, судите нас! – тут становится жутко и стыдно. Однако отступление невозможно. Козинцев выходит, становится перед зрителями, говорит несколько вступительных слов, и я угадываю, что и он в смятении. Но вот свет гаснет. На широком экране ставшие столь знакомыми за последние дни стены, покрытые черепицей крыши, острая скалистая вершина горы вдали – Ламанча, построенная в Коктебеле. Начинается действие, и незнакомые люди сливаются в близкое и понятное целое – в зрителей. Они смеются, заражая друг друга, кашляют, когда внимание рассеивается, кашляют все. Точнее, кашляет один – и в разных углах зала, словно им напомнили, словно в ответ, кашлянут еще с десятков зрителей. Иногда притихнут и ты думаешь: «Поняли, о, милые!» Иногда засмеются вовсе некстати. Но самое главное чудо свершилось – исчезли чужие люди, в темноте сидели объединенные нашей работой зрители. Конечно, картина будет торжеством Толубеева. Пойдут восхвалять Черкасова по привычной дорожке. Совершенно справедливо оценят работу Козинцева. Мою работу вряд ли заметят. (Все это в случае успеха.) Но я чувствую себя ответственным наравне со всеми и испытываю удовольствие от того внимания, с которым смотрят на этом опасном просмотре, без музыки, с плохим звуком, приблизительно смонтированную картину. Черкасов, уже давший в заграничные газеты различные сообщения о своей работе, ведущий дневник, с тем, чтобы потом выпустить книгу «Как я создал роль Дон Кихота», после просмотра находится в необычном состоянии. Обычная его самоуверенность как бы тускнеет.

20 декабря

Вчера я был на выставке Пикассо и позавидовал свободе. Внутренней. Он делает то, что хочет. Та чистота, о которой мечтал Хармс. Пикассо не зависит даже от собственной школы, от собственных открытий, если они ему сегодня не нужны. Убедился, что содержание не ушло. Ушел сюжет. А содержание, которое не определить словами, осталось. Выставка вызвала необыкновенный шум в городе. У картин едва не дерутся. Доска, где вывешиваются отзывы, производит впечатление поля боя. «Ах, как хочется после этой выставки в Русский музей», – пишет один. «Ступай и усни там», – отвечает другой. И так далее и тому подобное.

Из Телефонной книжки

Следующая фамилия – **Клыкова Лидия Васильевна**. Это сестра **Катерины Васильевны Заболоцкой**. Лидию Васильевну я почти не знаю, но рад поговорить о Катерине Васильевне. Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни. С этого и надо начать. Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкий угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Жили они на Петроградской, улицу забыл, – кажется, на Большой Зелениной. Комнату снимали у хозяйки квартиры – тогда этот институт еще не вывелся. И мебель была хозяйкина. И особенно понравился мне висячий шкафчик красного дерева, со стеклянной дверцей. Второй, похожий, висел в коридоре. Немножко другого рисунка. Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников ни слова о ней не сказали. Так мы и привыкли к тому, что Заболоцкий женат. Однажды, уже в тридцатых годах, сидели мы в так называемой «культурной пивной» на углу канала Грибоедова ², против Дома книги.

И Николай Алексеевич спросил торжественно и солидно, как мы считаем, – зачем человек обзаводится детьми? Не помню, что я ответил ему. Николай Макарович промолчал загадочно. Выслушав мой ответ, Николай Алексеевич покачал головой многозначительно и ответил: «Не в том суть. А в том, что не нами это заведено, не нами и кончится». А когда вышли мы из пивной и Заболоцкий сел в трамвай и поехал к себе на Петроградскую, Николай Макарович спросил меня: как я думаю, – почему задал Николай Алексеевич вопрос о детях? Я не мог догадаться. И Николай Макарович объяснил мне: у них будет ребенок. Вот почему завел он этот разговор. И, как всегда, оказался Николай Макарович прав. Через положенное время родился у Заболоцких сын. Николай Алексеевич заявил решительно, что назовет он его Фома. Но потом смягчился и дал ребенку имя Никита. Хармс терпеть не мог детей и гордился этим. Да это и шло ему. Определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последний в роде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже чужие дети пугали его. И как-то Николай Макарович, неистощимо внимательный наблюдатель, сообщил мне, посмеиваясь, что вчера Хармс и Заболоцкий чуть не поссорились. Хармс, будучи в гостях у Заболоцкого, сказал о Никите нечто оскорбительное, после чего Николай Алексеевич нахохлился и молчал весь вечер. Зато женщин Заболоцкий, Олейников и Хармс ругали дружно. Хармс, впрочем, более за компанию. Кроме детей, искренне ненавидел он только лошадей. Этих уж не могу объяснить почему. Яростно бранил их за глупость. Утверждал, что если бы они были маленькие, как собаки, то глупость их просто бросалась бы в глаза. Но когда друзья бранили женщин, он поддерживал их своим уверенным басом. «Культурная пивная» гудит от разговоров, и все на темы общие. «Народ – философ!» – говорил по этому поводу Олейников. И наш стол говорит о женщинах вообще. Кудрявая голова, бледное лицо и спокойные, даже сонные, светлые глаза.

Это Олейников, всегда внимательный – точнее, всегда на высокой степени внимания. Рядом – Заболоцкий, светловолосый, с девичьим цветом лица – кровь с молоком. Но этого не замечаешь. Очки и строгое, точнее – подчеркнуто степенное, упрямое выражение, – вот что бросается в глаза. Хоть и вышел он из самых недр России, из Вятской губернии, из семьи уездного землемера, и нет в его жилах ни капли другой крови, кроме русской, крестьян-

² В подлиннике ошибочно – Фонтанки.

ской, – иной раз своими повадками, методичностью, важностью напоминает он немца. За что друзья зовут его иной раз, за глаза, Карлуша Миллер. Рядом возвышается самый крупный из всех ростом Даниил Иванович Хармс. Маршак, очень его в те дни любивший, утверждал, что похож он на щенка большой породы и на молодого Тургенева. И то и другое было чем-то похоже. Настоящая фамилия Хармса была Ювачев. Отец его, морской офицер, был за связь с народовольцами заключен в Шлиссельбургскую крепость. Там он сошел с ума, о чем многие шлиссельбуржцы пишут в своих воспоминаниях. Им овладело религиозное помешательство. Крепость заменили ссылкой куда-то, чуть ли не на Камчатку, где он выздоровел и был освобожден. Помилован. Женился он в Петербурге. Мать Хармс очень любил. В двадцатых годах она умерла, и Введенский с ужасом рассказывал, как спокойно принял Даниил Иванович ее смерть. А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами. Об этом рассказывал уже как-то сам Даниил Иванович. Так или иначе, но вырос Даниил Иванович в семье дворянской, с традициями. Вставал, разговаривая с дамами, бросался поднимать уроненный платок, с нашей точки зрения, излишне стуча каблуками. Он кончил Петершуле и отлично владел немецким языком. Знал музыку.

12 сентября

И сейчас, за столом в «культурной пивной», он держался прямее всех, руки на столе держал правильно, отлично управлялся с ножом и вилок, только ел очень уж торопливо и жадно, словно голодающий. В свободное от еды и питья время он вертел в руках крошечную записную книжку, в которую записывал что-то. Или рисовал таинственные фигуры. От времени до времени задерживал внезапно дыхание, сохраняя строгое выражение. Я предполагал, что произносит он краткое заклинание или молитву. Со стороны это напоминало икание. Лицо у него было значительное. Лоб высокий. Иногда, по причинам тоже таинственным, перевязывал он лоб узенькой черной бархоткой. Так и ходил, подчиняясь внутренним законам. Подчиняясь другим внутренним законам, тем же, что заставляли его держаться прямо за столом и, стуча каблуками, поднимать уроненный дамой платок, он всегда носил жилет, манишку, крахмальный высокий отложной воротничок и черный маленький галстучек бабочкой, что при небрежности остальных частей одежды могло бы усилить впечатление странности, но оно не возникало вообще благодаря несокрушимо уверенной манере держаться. Когда он шагал по улице с черной бархоткой на лбу, в жилете и крахмальном воротничке, в брюках, до колен запрятанных в чулки, размахивая толстой палкой, то на него мало кто оглядывался. Впрочем, в те годы одевались еще с бору да с сосенки. Оглядывались бы с удивлением на человека в шляпе и новом, отглаженном костюме. Был Даниил Иванович храбр. В паспорте к фамилии Ювачев приписал он своим корявым почерком псевдоним Хармс, и когда различные учреждения, в том числе и отделение милиции, приходили от этого в ужас, он сохранял ледяное спокойствие. Хочу добавить еще одну важную вещь. Я, рассказывая о Каверине, недостаточно подчеркнул разное отношение к форме его и гения Хармса; в частности, Каверин уважал форму, а Хармс, чувствуя ее неизмеримо точнее, владея ею, видел, когда она жива.

Из рассказа Даниила Хармса

«Я решил растрепать одну компанию...»

Однажды я пришел в Госиздат и встретил в Госиздате Евгения Львовича Шварца, который, как всегда, был одет плохо, но с претензией на что-то.

Увидя меня, Шварц начал острить, тоже, как всегда, неудачно.

Я острил значительно удачнее и скоро в умственном отношении положил Шварца на обе лопатки.

Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха. В особенности же дохли от смеха Нина Владимировна Гернет и Давид Ефимович Рахмилович, для благозвучия называющий себя Южиным.

Видя, что со мной шутки плохи, Шварц начал сбавлять свой тон и наконец, обложив меня просто матом, заявил, что в Тифлисе Заболоцкого знают все, а меня почти никто.

Тут я обозлился и сказал, что я более историчен, чем Шварц и Заболоцкий, что от меня останется в истории светлое пятно, а они быстро забудутся.

Почувствовав мое величие и крупное мировое значение, Шварц постепенно затрепетал и пригласил меня к себе на обед.

Вот маленький пример того, как владел он формой. Мы все придумывали стихотворные рекламы для журнала «Еж». И вот я придумал четверостишие. В шутку. Невозможное для печати даже в те легкомысленные годы. «Или сыну – „Еж“, или в спину – нож». И, прочтя Хармсу, пожаловался на неприятное сочетание «в спиНУ НОж»: И он, не задумываясь, ответил: «А вы переставьте: „Или „Еж“ – сыну, или нож: – в спину“. И я еще раз проникся к нему уважением. Итак, мы сидели вчетвером в „культурной пивной“. Я и трое людей, которых вспоминаю так часто. И они ругали женщин. Двое – яростно, а Хармс – несколько безразлично. Олейников прежде всего утверждал, что они куры. Повторив это утверждение несколько раз страстно, убежденно, он добавил еще свирепее, что если ты пожил раз с женщиной – все. После этого она уже тебе не откажет. Это все равно что лошадь. Поймал ее за челку, значит, готово. Поезжай. Заболоцкий, строго и важно поблескивая очками, рассказал следующий случай. Одну молодую женщину любил композитор Гречанинов. А она предпочла ему простого парня. Чуть ли не деревенского. Когда выяснилось, что композитору было много лет, а деревенскому парню – мало (я почему-то подозревал, что это был сам Николай Алексеевич), то я спросил Заболоцкого, мог бы он любить старую женщину за музыкальность и не предпочел бы он ей простую девушку за молодость. Но Николай Алексеевич не ответил, а только посмотрел на меня через очки. Женщин ругали не только в „культурной пивной“, но и по всякому поводу при любом случае. Однажды, когда сидели мы у Олейникова, Заболоцкий неожиданно, без всякого повода, заявил со страстью, строго и убежденно, что женщины не могут любить цветы. „Почему?“ – „Не могут! Женщины не могут любить цветы!“ Соответственно со своими взглядами дома был Николай Алексеевич строг. И Фома, названный Никитой, тоже разговаривал с матерью по-мужски. Жили они уже не в одной комнате, а в квартире в надстройке. И заболел он ветрянкой.

14 сентября

Никита заболел однажды ветряной оспой. Было ему в это время, вероятно, лет шесть. Нет, меньше. Чтоб не дать ему чесаться, мать передвинула ночью кровать его к своей. И Никита спросил коротко и строго по-мужски: «Пол не поцарапала?» По странной непоследовательности чувств Николай Алексеевич, презиравший женщин, когда родилась у него

дочка, названная Наташей, просто Наташей, не Феклой и не Домной, нежно ее полюбил. Больше, чем Никиту. Во всяком случае, о нем он никогда ничего не рассказывал. А Катерине Ивановне рассказал однажды, как Наташа, восьмимесячная, кажется, собирала своими тоненькими пальцами крошки на диване. И, рассказав, чуть улыбнулся.

И вот грянул гром. В 1938 году Николая Алексеевича арестовали. Вечером пришла к нам Катерина Васильевна и рассказала об этом. Пока шел обыск, сидели они с Николаем Алексеевичем на диване, рядышком, взявшись за руки. И увели его.

Катерину Васильевну разглядели мы тут как следует, одну, саму по себе. Спокойно, с чисто женским умением переносить боль, взвалила она на плечи то, что послала жизнь. Внезапное вдовство – не вдовство, но нечто к этому близкое. Так в те дни ощущалась разлука. Двое ребят. Домработница сразу же, рыдая и прося прощения, призналась, что она боится, и попросила расчет. Передачи. Справки. И, наконец, пришлось ей с детьми выехать в Уржум, на родину Николая Алексеевича, где оставался кто-то из родни. Летом 1939 года высылку признали незаконной. Катерина Васильевна вернулась. Она все не жаловалась, разговаривала все так же спокойно, даже весело. Делилась своим горем только с двухлетней Наташей, которая нечаянно выдала мать, сказав Лидочке Кавериной: «Ох, тяжело, как жить будем!» Суд постановил предоставить Катерине Васильевне площадь. Сначала дали ей комнату в надстройке. Нет, не так.

15 сентября

До того как переехать в надстройку, до суда, жила Катерина Васильевна у родных. И заболели они гриппом. Катерина Васильевна и Никита. И мы взяли к себе маленькую Наташу, после чего на всю жизнь у меня к ней осталось отношение, как к своей. Прожила она у нас месяца полтора, Катерину Ивановну стала за это время называть «мама», а когда спрашивали ее: «Чья ты девочка?» – отвечала: «Катерины Ивановны я». Отличалась полным отсутствием аппетита. Она покашливала и прихварывала у нас, и доктор велел ей ставить горчичники, чего она очень боялась. И однажды, придя домой, увидел я следующее: на телефонном столике мокнут горчичники, а на тахте возле сидит Наташа и, обливаясь слезами, ест манную кашу. Катерина Ивановна пригрозила ей, что, если Наташа не станет есть, она сразу примется ее лечить.

Только после всех вышеописанных событий состоялся суд, постановивший вернуть Катерине Васильевне принадлежащую ей площадь. После ряда приключений, о которых рассказывать по ряду причин никак не хочется, получила она временно одну комнату, потом поселили ее на счет Литфонда в «Европейской гостинице», потом дали в надстройке комнату постоянно. Было в этой комнатке так тесно, что Наташа большую часть дня проводила у нас. Каждый день бывала и Катерина Васильевна.

Два года прожили мы бок о бок, и не было случая, чтобы пожаловалась она на судьбу. И целый день работала. Вязала кофточки на заказ. Все время то по хозяйству, то вязанье в руках. Приходили в положенные сроки письма от Николая Алексеевича. И Катерина Васильевна читала их нам. Росли дети. Никитка, молчаливый и сдержанный, словно чуть-чуть пришибленный тем, что обрушилось на их семейство, и Наташа, то веселая, то рыдающая. У нее был особый дар: в случае обиды обливалась она слезами вдруг, без всхлипываний, разом.

16 сентября

Меня называла она Женюрочкой, Катерину Ивановну, расшалившись, умышленно, сверхъестественно тоненьким голоском: «Катеришка Ивашка!» Очень любила танцевать со мной. Танцевал, собственно, я, взяв Наташу на одну руку, а другой держа ее ручку на весу, словно танцуем мы фокстрот. И она часто просила: «Женюрочка, давай поплешим!» «Попляшем» ей никак не удавалось почему-то выговорить.

Во время квартирных мытарств помогал я Катерине Васильевне. Однажды, когда перебиралась она в «Европейскую», дело было вечером, номер им дали во втором этаже, и поэтому поднимались мы пешком, на площадке между первым и вторым этажом увидела Наташа в открытую дверь ресторанный зал, танцующие пары, услышала музыку. И сказала умоляюще: «Женюрочка, пойдем туда, посидим, поплешим!» А Катерина Васильевна воскликнула: «Каково это слышать матери!» Во время финской кампании зима стояла неестественно суровая, словно ее наслали знаменитые финские колдуны. Ввели затемнение. Начались грабежи, а еще больше пошло слухов о грабежах. Стоишь в полной тьме. Из-за морозов трамвайное движение сократилось. Стоишь на остановке в толпе, угрюмой и тихой, и, наконец, в темноте проступают два синих, медленнодвигающихся огонька. «Какой номер?» И кто-нибудь из висящих на площадке отвечает угрюмо. То в одном, то в другом доме лопались водопроводные трубы, замерзало отопление. Холодно было и в «Европейской гостинице», но Катерине Васильевне удалось перебраться скоро к нам обратно, в надстройку. И снова каждый вечер появлялась она за нашим столом с вязаньем в руках, все спокойная, все веселая, худенькая, как девочка. И ни разу не видал я, чтоб слезы выступили на темных ее глазах. Ни разу за все годы знакомства, хоть столько было пережито. И оставалась она все такой же ровной в обращении, хотя было отчего беспокоиться. Шли хлопоты.

17 сентября

О пересмотре дела Заболоцкого подал ходатайство Союз писателей. Точнее, ряд влиятельных московских писателей. И дело направлено было на пересмотр. Когда горе-злосчастье вот-вот спрыгнет с твоих плеч – и ты надеешься на это, – еще труднее сохранять спокойствие. Но у Катерины Васильевны и тут хватило сил не показать, как ждет она счастья. Как замучилась, ожидая. Каверин, из всех сил хлопотавший по этому делу, утверждал, что Николай Алексеевич вернется вот-вот, со дня на день. Но грянула война. И жизнь Катерины Васильевны стала еще страшнее. Когда 11 декабря 41 года уехали мы из Ленинграда, Катерина Васильевна с детьми поселилась в нашей квартире. С конца января, чтобы голодающие дети теряли меньше сил, она их все время держала в кровати. Было это в начале февраля 42 года. Всякие заказы на кофточки прекратились, конечно. Наташа спросила однажды: «Мама, это правда было, или мне во сне снилось, что ты когда-то меня заставляла есть»...

И вот, наконец, Кетлинская включила Катерину Васильевну с детьми, маленькой племянницей и сестрой, той самой Л.В. Клыковой, что записана у меня в телефонной книжке, в список, в писательский список подлежащих эвакуации. А смерть в те дни как будто с умыслом ловила тех, что пытались от нее убежать. Однажды, кажется, было это 6 февраля, за два дня до отъезда, сидела Катерина Васильевна в нашей крошечной кухне, где удавалось кое-как поддерживать тепло. Дети лежали на раскладушке. Шел сильный артиллерийский обстрел нашего района. Снаряды так и рвались по соседству. Боже мой, как далеко ушло в глубь веков то время, когда сидели мы в пивной.

18 сентября

«Культурная пивная» сегодня похожа была на тяжелораненую. В дом, бывший Энгельгардта, попала бомба. И дом как бы временно перевязали – забили фанерой. Снег, да щебень, да запах гари – вот что нашел бы ты там, где за всеми столами, увильнув от работы, словно школьники, громко рассуждали мужчины на общие темы. А за нашим столом надменно бранили женщин. Века прошли с тех пор, большая часть наших соседей по «культурной пивной» погибла, наш район обстреливали, а Катерина Васильевна советовалась с сестрой, нести детей в бомбоубежище или не стоит. У них была повышенная температура. И вдруг разговор их на полуслове оборвался. Взрыв, вспышка ослепительная, пронизавшая всю квартиру, удар, шум разрушения. Когда я через два месяца спросил Наташу, что сде-

лала мама, когда в квартиру попал снаряд, она ответила: «Мама? Она побежала наверх по лестнице, потом вниз». – «А ты где была?» И Наташа, пожав плечами, ответила как вещь само собой разумеющуюся: «У мамы на руках!» И в самом деле, когда снаряд попал в столовую, под самый подоконник и, свернув радиатор отопления восьмеркой, вбил его в противоположную стенку, Катерина Васильевна, схватив детей на руки, побежала в растерянности, ошеломленная, наверх, а потом вниз, в бомбоубежище. Смерть промахнулась чуть-чуть. У нас в квартире всего-то было около 24 метров. Между столовой и кухней помещался так называемый кабинет – моя комната в 9 метров. Но жильцов наших только напугало. И через два дня Катерина Васильевна погрузилась с сестрой и детьми в писательский эшелон. На Большой земле Заболоцкие отделились от писателей. Они решили пробираться к нам, в Киров, а оттуда все в тот же Уржум. В то время Ленинград и ленинградцы, их горести перешли за те пределы, что люди знали. Если больной вызывает жалость, гроб – уважение, то разлагающийся мертвец вызывает одно желание – убрать его поскорей. Вагоны, теплушки с несчастными дистрофиками ползли от станции к станции. А смерть гонялась за беглецами.

19 сентября

На остановках в двери теплушек стучали и просили: «Граждане, не скрывайте трупы!» Но граждане скрывали, чтобы получать продовольствие за умерших. Несчастные, обезумевшие с голоду и холоду ленинградцы. У них, умирающих, были свои счета с умершими. И немирно было в теплушках. В той, где поместилась Катерина Васильевна с детьми, дружно ненавидели одну семью: отец – научный работник, мать и ребенок, страдающий голодным поносом. Отец на станциях, где кормили ленинградцев, ходил за диетическим супом для больного сынишки и половину съедал на обратном пути и, чтобы скрыть, доливал котелок сырой водой. И попался. И его яростно бранили. И еще больше возненавидели. И когда он умер, радовались все эвакуированные, и жена покойного в том числе. Весь эшелон доставили в Кострому, где был устроен стационар для ленинградцев. Их вымыли, уложили, откормили. И Катерина Васильевна недели через две увидела, что жена умершего научного работника, которую она вместе со всеми ненавидела, очень славная женщина. И мальчик, избавившийся от голодного поноса, оказался хорошим мальчиком. И жена научного работника целыми днями плакала, вспоминала мужа, рассказывала, каким он был, пока в блокаду не потерял облика человеческого. А мы жили в Кирове, в десятиметровой комнате, в театральном доме. И мы ничего не знали о Заболоцких. Знали, что к нам в квартиру попал снаряд, что Заболоцкие уцелели и через два дня после этого эвакуировались. Но прошло почти два месяца с тех пор. И я сам не знал, как беспокоит меня их судьба. Но вот однажды рано утром, когда я еще курил с наслаждением самосад, только что проснувшись и лежа в кровати, вошла улыбаясь Катюша и протянула мне телеграмму на розовой бумаге. И я прочел, что Катерина Васильевна с детьми едет к нам. И, прочтя, заплакал вдруг, что никак не свойственно мне. Никогда со мной этого не бывало. Катерина Васильевна пробиралась в Киров со множеством бед и трудов. Попробуй сядь в поезд!

20 сентября

С детьми, с огромным, неуклюжим багажом эвакуированных. Был такой случай, что Катерина Васильевна однажды вскочила с Наташей в теплушку, и поезд вдруг тронулся, а Никита, рыдающий, остался с вещами на перроне. И Катерина Васильевна с первого же разезда побежала обратно с Наташей на руках. Но вот, наконец, удалось погрузиться всему семейству, и состав медленно пополз к Кирову. Ночью обнаружилось, что в теплушке больные дети. Утром врач установил скарлатину. Больных высадили. А через положенное время ночью вдруг поднялась температура у Наташи. Боже мой, как далеко, на целые века, ушло то время, когда, сидя за столом у Олейниковых, упрямо, строго, со страстью повторял Забо-

лоцкий: «Женщины не могут любить цветы!» На другой день к вечеру Наташа поправилась. Ночью, когда температура вскочила, зажигая спички, не могла определить Катерина Васильевна, появилась у нее сыпь или нет. А днем сыпи тоже не обнаружила. А врачей на этом перегоне не было. Так и пробирались они к нам, медленно полз состав от станции к станции. А мы все ждали гостей и разговаривали о них. Вспоминали, как Зон, к ужасу педагогов, провел трехлетнюю Наташу на «Красную Шапочку» в Новый ТЮЗ. Посадил ее в свою ложу. А вечером Наташа сыграла нам всю пьесу, сцену за сценой. Моя Катерина, Катерина Ивановна, была к тем, кого любила, внимательна до мнительности. То ей казалось, что маленькая Наташка дальтоник. Пока не выяснилось, что девочка путает не цвета, а по малолетству названия цветов. То казалось ей, что у девочки недостаточно хорошая память. И когда сыграла Наташа всю «Красную Шапочку», Катерина Ивановна обрадовалась. И Катерина Васильевна, худенькая, как девочка, сидя на диване нашем, глядела на дочку с наслаждением, любовалась ею, но сдержанно. Всегда ровная, в горе и радости. То вспоминал я один из первых обстрелов города. Было часов девять вечера.

21 сентября

Бомбоубежище наше не было еще оборудовано. Договорились с Малым оперным, что детей будем направлять к ним. И вот снова, как в день переезда в «Европейскую», двинулись мы в путь через пешеходный Итальянский мостик. Впереди Катерина Васильевна с подушками и одеялами и с Никитой, а позади я, с Наташей на руках. Девочка была встревожена, молчала и ни о чем не спрашивала. Казалось, что снаряды пролетают над самой головой. Ясно слышался звук разрыва, которым заканчивался свист. Когда раздался особенно громкий взрыв, я с удивлением заметил, что в своем смятении чувств испытал удовольствие. Именно от силы звука. И подумал: неужели свойственна человеку любовь к грохоту? Не отсюда ли хлопушки, петарды, орудийные салюты? Словом, некие заслонки опустились в душе, и я сосредоточенно думал о чем угодно и отбрасывал мысль о том, что стреляют-то, в сущности, в нас, в ленинградских обывателей, и могут попасть. Такие же заслонки опустились в душе, когда не было известий от Заболоцких, и я думал о чем угодно, только не о том, что могли они погибнуть. Но, видимо, чувствовал, что это возможно, вполне возможно. Так просто умирали люди вокруг. Вот почему я и заплакал, когда пришла телеграмма. Смятение чувств исчезло, осталось только облегчение и радость. Долго ли, коротко ли, но вот к нам в дверь постучали рано утром. Открываю и вижу Катерину Васильевну и сияющую, беленькую, румяную Наташу. И первое, что девочка закричала, не поздоровавшись, не войдя в комнату: «Вас разбóмбило!» (с ударением на «о»). «Как тебе не стыдно!» – сказала дочке Катерина Васильевна. Оказывается, Никита остался на вокзале только при том условии, чтобы не рассказывали без него, как попал к нам снаряд. Он хотел вместе. А Наташа не удержалась. Вскоре все, с вещами, чудом каким-то разместились в нашей десятиметровой комнате. И Лидия Васильевна со своей девочкой, совсем незнакомой, загадочно улыбавшейся.

22 сентября

Впрочем, она довольно скоро уехала с дочкой в Уржум, а мы остались впятером. Катерина Васильевна еще с порога, как Наташа о том, что нас «разбóмбило», предупредила о таинственном Наташином заболевании. Но мы и думать об этом не захотели и не отделили девочку от остальных детей театрального дома. Уж очень она хорошо выглядела, и, когда мыли ее, никаких признаков шелушения не обнаружили. Значит, девочка перенесла не скарлатину, а просто грипп. Весела она была необыкновенно, веселее всех на наших десяти метрах. Ей уже исполнилось пять лет. От отца унаследовала она нежнейший цвет лица и золотистые волосы, а от матери темные глаза. Маленький, живой, отчаянный мальчик, сын одного из мобилизованных работников Кировского областного театра, примерно Наташин ровес-

ник, описывал ее так: «К Катерине Ивановне приехала дочка, красивая! Таких не бывает!» И все приняли девочку ласково, зазывали из комнаты в комнату. Вот возвращается она от Никритиной и Мариенгофа. «Ну, как тебя принимали?» – «Принимали? Очень хорошо! Какао. Бутерброд с медом. Бутерброд с колбасой. Очень хорошо принимали!» И, пожив в Кирове с неделю, пятилетняя Наташа сказала с удивлением: «Я не знала, что так хорошо жить!» А Никита, которому уже исполнилось десять лет, а на вид казалось меньше, все молчал и читал – нет, не читал, а изучал – одну и ту же книжку, купленную на вокзале. Называлась она: «Постройка дома из местных материалов». Столько лет Никита был бездомным! Забьется в угол и рассматривает, рассматривает плиты, изучает, мечтает. А вдруг удастся построить? Катерина Васильевна, хоть и отошла немного в Костроме, была еще хуже прежнего. Она рассказала о своих приключениях дорожных, об умершем научном работнике, которого даже собственная жена возненавидела, а потом пожалела, придя в себя. Рассказывала вдумчиво, сосредоточенно, как бы с трудом добывая воспоминания со дна души. И руки у нее, как всегда, были заняты. Что-то перешивала ребятам. Катерина Ивановна спрашивает ее: «А где у вас кусок шерсти был такой хороший?» Она задумывается.

23 сентября

И отвечает сосредоточенно, как бы с напряжением собирая разбегающиеся воспоминания: «Забыла. Может быть, взяла, а может быть, и нет. Пять шкурок беличьих забыла, это я теперь точно знаю. Разве я помню, что брала? Я уезжала, как в тумане!» Вскоре заболела Катерина Ивановна ангиной в очень сильной форме. Чего с ней вообще никогда не случилось. По хозяйству теперь хлопотала одна Катерина Васильевна. И ей изо всех сил помогала Наташа. И подметала, и бегала с пепельницей то ко мне, то к Катерине Ивановне и предлагала: «Макайте, макайте!» А Никита делался все молчаливей, и, едва поправилась Катерина Ивановна, свалился он. До сих пор спал Никита возле письменного стола, на полу, рядом с Наташей. Теперь соорудили ему у стены отдельное ложе из рюкзаков и тюков. Он лежал и вздыхал. И через несколько дней выяснилось, что у него воспаление среднего уха. И, несмотря на отчаянные боли, он только кряхтел. Дело уже идет к весне. Я только что пришел с улицы, где заметил, что деревянные мостки, идущие вдоль деревянных заборов, почти полностью обсохли, послушал, как с шумом бежит вода по канавкам по всей дороге от нашего дома вниз, к Пупыревке, к рынку, и обрадовался. Дома Катерина Васильевна меняет Никите компресс. Потом собирается капать ему в нос протаргол. И Никита просит кротко: «Подожди, подожди с каплями. Дай я отдышусь». А Наташа, вытирающая пыль, поет рассеянно: «От-дышусь, от-дышусь, от-дышусь». Когда все лечебные процедуры кончены, я спрашиваю Никиту: «Что ж ты лежишь, не читаешь? А где „Постройка дома из местных материалов“? Потерял?» – «Что вы! – отвечает Никита. – Я эту книгу берегу, как *зенитку ока*». Через несколько дней у Никиты началось воспаление желез. Квартирный врач вызвал инфекциониста. И тот установил, что у Никиты скарлатина. А жили мы в театральном доме. Кругом дети. Родители сердитые.

24 сентября

И надо сказать к их чести, что мы ни слова упрека не услышали от замученных и обиженных на весь мир соседок наших. Никиту увезли в больницу. В комнате нашей сделали дезинфекцию. Наташа играла только с моей Наташей, которой в то время было двенадцать лет. Глянешь за оттаявшее уже окно и видишь: стоит моя Наташа в своей шубке из каких-то беличьих отходов, из бело-желтых прямоугольничков. Выросла она из этой шубы, так что она ей чуть не выше колен. Стоит Наташа, сильно откинувшись назад, держит на руках Наташу Заболоцкую в белой шубке. Маленькая Наташа это очень любит, хоть Катерина Васильевна и запрещает – боится, что большая Наташа надорвется. Когда маленькая

Наташа играла одна и к ней по привычке направлялись соседские дети, она поднимала руку и кричала: «Не подходите! Заразитель!» С ударением на втором «а». Каждый день ходили они – Наташа и Катерина Васильевна – к Никите в больницу. Он уже поправлялся. Он подходил к закрытому окну и кивал. А однажды показал записку, написанную крупными буквами: «Хочу домой». Больница помещалась на краю города, дорогу совсем развезло, так что Катерина Васильевна возвращалась домой еще более бледной, с еще более темными глазами, а Наташа – красная, как из бани. Однажды разыгралась буря. Кормились мы в Кирове в те дни относительно сытно, в основном картошкой. Наташа, некогда привередливая, ненавидевшая пенки или яйца всмятку, теперь их обожала. Но больше всего – масло. И, видимо, ей все время хотелось есть. И вот однажды обнаружилось, что масло в масленке сверху слизано. Кошек не было – кроме Наташи, никто не мог совершить преступление. А она не сознавалась. И ей так строго выговаривали – не за то, что слизала, а за то, что не сказала, – что сама преступница пришла в отчаянье от своей нераскаянности. И Катерина Ивановна услышала на другой день, как Наташа говорит своей кукле: «Я, наверное, оттого такая плохая, что некрещеная».

25 сентября

Но на другое утро все было забыто, и Наташа носилась между курящими с пепельницей и уговаривала: «Макайте, макайте». Катерина Васильевна никогда не отводила душу, как это вечно бывает, на самых незащищенных в семье, но и не распускала ребят. И только однажды, когда Наташа вечером слишком уж развеселилась и потом ни за что не хотела ложиться спать, плакала и бунтовала, Катерина Васильевна только молча глядела на дочку своими темными глазами, опустив руки. А утром сказала сосредоточенно, ни на кого не глядя, будто отчитываясь перед собой: «Для того, чтобы рассердиться на ребенка, тоже надо силу иметь. Я вчера совсем без сил была». Но обычно Наташа вела себя, как подобает воспитанной девочке. Катерина Ивановна ее так и спрашивала за столом: «Как сидят воспитанные девочки?» И Наташа вытягивалась в струнку и даже подбородок выставляла вперед. Катерину Ивановну Наташа слушалась не меньше, чем мать...

В театральном доме жил парикмахер чех, по фамилии Свобода. И было у него двое детей. Мальчик Франтишек и девочка Власта. Дети звали их Франтик и Ласточка. Ласточка была необыкновенно хороша собой. О чем неоднократно говорили мы при Наташе. Однажды Наташа провинилась, уж не помню в чем. Екатерина Васильевна сделала ей выговор, который девочка выслушала спокойно.

26 сентября

Тогда Катерина Ивановна сказала: «Ну, конечно. Решено. Вместо тебя возьмем мы в дочку Ласточку». Несколько мгновений Наташа сидела неподвижно, с тем же легкомысленным выражением, с каким выслушивала мамин выговор. И вдруг рухнула, уткнулась лицом в колени Наташи большой, сидевшей возле. И расплакалась, на свой лад, не всхлипывая, безудержно и безутешно. Когда Наташа Заболоцкая, уже студенткой, в прошлом году была у нас и мы вспоминали прошлое, выяснилось, что Ласточку и угрозу Катерины Ивановны помнит она ярче всего. Помнит и несчастье со сливочным маслом. «Сама теперь не понимаю, почему я не могла признаться», – сказала она вдумчиво, сосредоточенно, как Катерина Васильевна. В конце апреля, в назначенный день, отправилась Катерина Васильевна за Никитой и привела его, довольного, сдержанно улыбающегося. Дом из местных материалов еще не был построен, но все-таки вернулся мальчик к своим, как бы домой. К знакомому неуклюжему эвакуационному багажу, в комнату, где уже прижился. Но приближался день новых странствий. Письменский помог Катерине Васильевне устроиться преподавательницей в интернат ленинградских школьников, эвакуированных в Уржум. Назначен был день отъезда. И

перед самым этим днем покрылся сыпью, заболел я. Когда Катерина Васильевна укладывала вещи, еще не было установлено, скарлатина у меня или нет. Но она все поглядывала на меня сокрушенно, словно виноватая. Приехал за ними возчик, уже на колесах. Как нарочно, повалил мокрый снег. Я попрощался с Катериной Васильевной, с детьми. Поволокли к выходу тяжелый эвакуационный багаж. Катерина Ивановна вышла проводить во двор. И, глядя им вслед, едва не заплакала. Катерина Васильевна шагала под снегом сгорбившись, рюкзак на спине, вела детей за руки.

27 сентября

Когда дня через два позвонила Катерина Васильевна из Уржума и узнала, что все-таки у меня скарлатина, то ужасно извинялась, будто виноватая. А я все не мог отделаться от ощущения, вызванного рассказом Катерины Ивановны. Валит снег. На возу мешки, узлы, потемневшие от странствий, а возле шагает сгорбившись Катерина Васильевна и ведет детей. И примерно в эти дни бездетный Владимир Васильевич Лебедев горевал, вспоминая с искренней любовью о вещах, покинутых в Ленинграде. О каком-то половнике, удивительно сработанном. О коллекции кожаных произведений искусств: ботинок, и полуботинок, и поясов, и о шкафах своих, и о кустарных фарфоровых фигурках своих.

В Уржуме интернат оказался тяжелым. Собрали туда ребят трудновоспитуемых. Жила Катерина Васильевна с детьми в каком-то чуланчике и с утра до вечера то по службе, то по дому. И готовила, и стирала, и учила трудновоспитуемых, и глаз не спускала со своих ребят, которым приходилось расти в столь опасной обстановке. И так шло до 44 года, когда Николая Алексеевича освободили. И Катерина Васильевна вновь двинулась в странствование. В Кулунду, где Николай Алексеевич работал теперь вольнонаемным. Сколько ребят, оставшихся в те годы без отца, «потеряли себя», как говорит Илико. Но Катерина Васильевна привезла отцу ребят хороших и здоровых. Только бледных и худеньких, как все дети в те времена. И семья Заболоцких восстановилась. Попрощавшись с Катериной Васильевной весной 42 года, встретился я с ней и с детьми через пять лет. В Москве. Летом. В Переделкине, где снимали они комнату. Наташа, поздоровавшись, все поглядывала на нас издали из-за деревьев. Исчезла Наташа трехлетняя, исчезла пятилетняя – беленькая десятилетняя девочка, и та и не та, все глядела на нас недоумевающе, старалась вспомнить. И Никита поглядывал. Этот улыбался. Помнил яснее.

28 сентября

И Николай Алексеевич глядел на нас по-другому. И тот и не тот. И дома не снисходил к жене, а говорил с ней так, будто и она гений. Просто. Вскоре написал он стихотворение «Жена», в котором все было сказано. Все, со свойственной ему силой. Долго ли, коротко ли, но прописали Николая Алексеевича в Москве. И Союз дал ему квартиру на Беговой. И вышел его стихотворный перевод «Слова о полку Игоревом» и множество переводов грузинских классиков. И заключили с ним договор на полное собрание сочинений Важа Пшавела. И он этот договор выполнил. Приедешь в Москву, приедешь к Заболоцким и не веришь глазам: холодильник, «Портрет неизвестной», подлинник Рокотова, – Николай Алексеевич стал собирать картины. Сервиз. Мебель. Как вспомнишь комнатку в Кирове, горы багажа в углу – чудо да и только. И еще большее чудо, что Катерина Васильевна осталась все такой же. Только в кружке в Доме писателей научилась шить. Сшила Наташе пальто настолько хорошо, что самые строгие ценительницы удивлялись. И еще – повысилось у нее после всех прожитых лет кровяное давление. Сильно повысилось. Но она не сдавалась, глядела своими темными глазами весело и спокойно и на детей и на мужа. Никита кончил школу и поступил в Тимирязевскую академию, где собирались его пустить по научной линии. Уважали. А Наталья училась в школе все на круглых пятерках. Это была уже барышня, тоненькая,

беленькая, розовая, темноглазая. И мучимая застенчивостью. С нами она еще разговаривала, а со сверстниками, с мальчиками, молчала, как замороженная. И много, очень много думала. И Катерина Васильевна болела за нее душой. А Николая Алексеевича стали опять охватывать пароксизмы самоуважения. То выглядит из него Карлуша Миллер, то вятский мужик на возу, не отвечающий, что привез на рынок, по загадочным причинам. Бог с ним. Без этого самоуважения не одолел бы он «Слова» и Руставели и не написал бы множества великолепных стихотворений.

29 сентября

Но когда, полный не то жреческой, не то чудаческой надменности, вещал он нечто, подобное тому, что «женщины не могут любить цветы», испытывал я чувство неловкости. А Катерина Васильевна только улыбалась спокойно. Придавала этому ровно столько значения, сколько следовало. И все шло хорошо, но вот в один несчастный день потерял сознание Николай Алексеевич. Дома, без всякого видимого повода. Пил много с тех пор, как жить стало легче. Приехала «неотложная помощь». Вспрыснули камфору. А через полчаса или час – новый припадок. Сердечный. Приехал профессор, который уже много дней спустя признался, что у Николая Алексеевича начиналась агония и не надеялся он беднягу отходить. Кардиограмма установила инфаркт. Попал я к Заболоцким через несколько месяцев после этого несчастья. Николай Алексеевич еще лежал. Я начал разговор как ни в чем не бывало, чтоб не раздражать больного расспросами о здоровье, а он рассердился на меня за это легкомыслие. Не так должен был вести себя человек степенный, придя к степенному захворавшему человеку. Но я загладил свою ошибку. Потом поговорили мы о новостях литературных. И вдруг сказал Николай Алексеевич: «Так-то оно так, но наша жизнь уже кончена». И я не испугался и не огорчился, а как будто услышал удар колокола. Напоминание, что кроме жизни с ее литературными новостями есть еще нечто, хоть печальное, но торжественное. Катерина Васильевна накрыла на стол. И я увидел знакомый финский сервиз, тонкий, синий, с китайчатами, джонками и пагодами. Его купили пополам обе наши Катерины уже после войны, в Ленинграде. Мы взяли себе его чайный раздел, а Заболоцкие – столовый. Николай Алексеевич решил встать к обеду. И тут произошло нечто, тронувшее меня куда живее, чем напоминание о смерти. Катерина Васильевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа.

30 сентября

Опустилась на колени и обула его. И с какой легкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражен красотой, мягкостью и женственностью движения. Ну вот и все. Рассказываю все это не для того, чтобы защитить Катерину Васильевну от мужа. Он любит ее больше, чем кто-нибудь из нас, ее друзей и защитников. Он написал стихотворение «Жена», а сила Николая Алексеевича в том, что он пишет, а не в том, что вещает, подвыпивши. И уважает он жену достаточно. Ей первой читает он свои стихи – шутка ли. Не сужу я его. Прожили они столько лет рядом, вырастили детей. Нет ему ближе человека, чем она, нет и ей ближе человека, чем он. Но о нем, великолепном поэте, расскажут и без меня. А я сейчас болен и особенно чувствую прелесть заботы Катерины Ивановны, не ждущей зова, а идущей навстречу. Вот и рассказываю с особенным наслаждением о женщинах, которые, как говорят, по природной ограниченности своей не могут любить цветы.

26 октября

Николай Алексеевич Заболоцкий лежал на широком своем двухспальном, покрытом ковром диване. Глаза его, маленькие и светлые, глядели тускло, и один он все закрывал. Проверял зрение. У него подозревали туберкулез глаза. Процесс как будто бы удалось пре-

кратить. Но Николай Алексеевич все прикрывал один глаз, проверял, не возобновился ли процесс. Он не то чтобы пополнил, а как-то перешел за собственные границы. Мягкий второй подбородок, вторые беловатые щеки за его привычными кирпичными – общее впечатление переполнения. На стене против дивана в овальной раме портрет наруганной дамы с напудренными волосами. Над книжным шкафом – морской пейзаж. Далее крестьянка в итальянском костюме, положив на траву младенца, молится у статуи мадонны. Над диваном большая гравюра с портрета Толстого – кажется, репинского. Под углом к нему рисунок: амазонка скачет на коне. Николай Алексеевич полюбил живопись, полюбил упрямо, методично, не позволяя шутить над этим. Особенно гордится он дамой в овальной раме. «Это Рокотов!» В Москве известно всего шесть его картин, и одна из них у Николая Алексеевича. Николай Алексеевич лежал на диване.

27 октября

И из глубин своего [прошлого], переполненного болезнями, тревогами, сонно поглядывал на меня своими голубыми глазами. И мы долго не виделись – из глубин прошедшего с тех пор времени поглядывал он на меня своими голубыми глазами. Словно стараясь узнать или понять, как я приду к новым его болезням, тревогам и мыслям. Я попробовал подшутить над новыми его приобретениями. Он сначала посмеялся, а потом сказал сурово и осуждающе: «Я вижу, ты в живописи мастак!» И только сложными маневрами удалось мне помириться с ним и приблизиться к нему через ямы и канавы, вырытые временем, болезнями, тревогами и чудачествами. Я пришел в шесть, а хорошими знакомыми мы стали к девяти. Если бы не вечный мой страх одиночества, не Катерина Васильевна, не Наташа, которая росла, в сущности, и у нас, – я бы мог и уйти, не познакомившись снова с Николаем Алексеевичем. Угловатость гениальных людей стала меня отталкивать. Он может и чудачествовать, и проповедовать, и даже методично, упорно своевольничать: жизнь его и гениальность его снимают с него вину. Страдания его снимают с него вину.

1 ноября

Заболоцкого увидел я в первый раз в 27 году. Был он тогда румян (теперь щеки у него кирпичного цвета), важен, как теперь, и строг в полной мере. Свои детские стихи подписывал он псевдонимом «Яков Миллер». И когда начинал он говорить особенно методично и степенно, то друзья, посмеиваясь, называли его «Яша Миллер». Он говорил о Гёте почти-точно и, думаю, единственный из всех нас имел поступки. Поступал не так, как хотелось, а как он считал для поэта разумным. Введенского, который был полярен ему, он, полусуто сначала или как бы полусуто, бранил. Писал ему:

Скажи, зачем ты, дьявол,
Живешь, как готтентот.
Ужель не знаешь правил,
Как жить наоборот.

А кончилось дело тем, что он строго, разумно и твердо поступил: прекратил с ним знакомство. Писал он методично. Взявшись за переделку для детей Рабле, он прекрасным своим почерком заполнял страницу за страницей ежедневно. Думаю, что так же писал он и свои стихи. И он имел отчетливо сформулированные убеждения о стихах, о женщинах, о том, как следует жить. Были его идеи при всей методичности деревянны. Вроде деревянного самохода на деревянных рельсах. Деревянный вечный двигатель. Но крепки. Скажет: «Женщины не могут любить цветы».

2 ноября

И упрется. И подведет под это утверждение сложную, дубовую конструкцию. Заболоцкий – сын агронома или землемера из Уржума, вырос в огромной и бедной семье, уж в такой русской среде, что не придумаешь гуще. Поэтому во всей его методичности и в любви к Гёте чувствовался тоже очень русский спор с домашним беспорядком и распушенностью. И чудачество. И сектантский деспотизм. Но все, кто подсмеивался над ним и дразнил: «Яша Миллер», – делали это за глаза. Он сумел создать вокруг себя дубовый частокол. Его не боялись, но ссориться с ним боялись. Не хотели. Не за важность, не за деревянные философские системы, не за методичность и строгость любили мы его и уважали. А за силу. За силу, которая нашла себе выражение в его стихах. И самый беспощадный из всех, Николай Макарович, признавал: «Ничего не скажешь, когда пишет стихи – силен. Это как мускулы. У одного есть, а у другого нет». Несмотря на то, что имел Николай Алексеевич склонность поступать разумно и по-своему, был он отчасти и внушаем. Однажды все мы постриглись под машинку. Нахмурившись, отчитывал он нас за нелепость этого поступка. Стрижка портит волосы. Священники не стригутся, а лысеют редко, а женщины – никогда. Стрижка – школьный предрассудок. Но через несколько дней пришел он в Детгиз стриженный наголо. При подчеркнуто волевой линии поведения жил он в основном, как и все. Хотел или не хотел, а принимал окраску среды, сам того не зная. И все же был он методичен, разумен, строг и чист.

Евгений Шварц

Дракон

Сказка в трех действиях

Действующие лица

Дракон.
Ланцелот.
Шарлемань – архивариус.
Эльза – его дочь.
Бургомистр.
Генрих – его сын.
Кот.
Осел.
1-й ткач.
2-й ткач.
Шапочных дел мастер.
Музыкальных дел мастер.
Кузнец.
1-я подруга Эльзы.
2-я подруга Эльзы.
3-я подруга Эльзы.
Часовой.
Садовник.
1-й горожанин.
2-й горожанин.
1-я горожанка.
2-я горожанка.
Мальчик.
Разносчик.
Тюремщик.
Лакеи, стража, горожане.

Действие первое

Просторная уютная кухня, очень чистая, с большим очагом в глубине. Пол каменный, блестит. Перед очагом на кресле дремлет кот.

Ланцелот (входит, оглядывается, зовет). Господин хозяин! Госпожа хозяйка! Живая душа, откликнись! Никого... Дом пуст, ворота открыты, двери отперты, окна настежь. Как хорошо, что я честный человек, а то пришлось бы мне сейчас дрожать, оглядываться, выбирать, что подороже, и удирать во всю мочь, когда так хочется отдохнуть. (*Садится.*) Подождем. Господин кот! Скоро вернутся ваши хозяева? А? Вы молчите?

Кот. Молчу.

Ланцелот. А почему, позвольте узнать?

Кот. Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, мой милейший.

Ланцелот. Ну а где же все-таки твои хозяева?

Кот. Они ушли, и это крайне приятно.

Ланцелот. Ты их не любишь?

Кот. Люблю каждым волоском моего меха, и лапами, и усами, но им грозит огромное горе. Я отдыхаю душой, только когда они уходят со двора.

Ланцелот. Вот оно что. Так им грозит беда? А какая? Ты молчишь?

Кот. Молчу.

Ланцелот. Почему?

Кот. Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем. Мяу!

Ланцелот. Кот, ты меня пугаешь. В кухне так уютно, так заботливо разведен огонь в очаге. Я просто не хочу верить, что этому милому, просторному дому грозит беда. Кот! Что здесь случилось? Отвечай же мне! Ну же!

Кот. Дайте мне забыться, прохожий.

Ланцелот. Слушай, кот, ты меня не знаешь. Я человек до того легкий, что меня как пушинку носит по всему свету. И я очень легко вмешиваюсь в чужие дела. Я был из-за этого девятнадцать раз ранен легко, пять раз тяжело и три раза смертельно. Но я жив до сих пор, потому что я не только легок как пушинка, а еще и упрям как осел. Говори же, кот, что тут случилось. А вдруг я спасу твоих хозяев? Со мною это бывало. Ну? Да ну же! Как тебя зовут?

Кот. Машенька.

Ланцелот. Я думал – ты кот.

Кот. Да, я кот, но люди иногда так невнимательны. Хозяева мои до сих пор удивляются, что я еще ни разу не окотился. Говорят: что же это ты, Машенька? Милые люди, бедные люди! И больше я не скажу ни слова.

Ланцелот. Скажи мне хоть – кто они, твои хозяева?

Кот. Господин архивариус Шарлемань и единственная его дочь, у которой такие мягкие лапки, славная, милая, тихая Эльза.

Ланцелот. Кому же из них грозит беда?

Кот. Ах, ей и, следовательно, всем нам!

Ланцелот. А что ей грозит? Ну же!

Кот. Мяу! Вот уж скоро четыреста лет, как над нашим городом поселился дракон.

Ланцелот. Дракон? Прелестно!

Кот. Он наложил на наш город дань. Каждый год дракон выбирает себе девушку. И мы, не мяукнув, отдаем ее дракону. И он уводит ее к себе в пещеру. И мы больше никогда не видим ее. Говорят, что они умирают там от омерзения. Фрр! Пшел, пшел вон! Ф-ф-ф!

Ланцелот. Кому это ты?

Кот. Дракону. Он выбрал нашу Эльзу! Проклятая ящерица! Ф-ффф!

Ланцелот. Сколько у него голов?

Кот. Три.

Ланцелот. Порядочно. А лап?

Кот. Четыре.

Ланцелот. Ну, это терпимо. С когтями?

Кот. Да. Пять когтей на каждой лапе. Каждый коготь с олений рог.

Ланцелот. Seriously? И острые у него когти?

Кот. Как ножи.

Ланцелот. Так. Ну а пламя выдыхает?

Кот. Да.

Ланцелот. Настоящее?

Кот. Леса горят.

Ланцелот. Ага. В чешуе он?

Кот. В чешуе.

Ланцелот. И небось, крепкая чешуя-то?

Кот. Основательная.

Ланцелот. Ну а все-таки?

Кот. Алмаз не берет.

Ланцелот. Так. Представляю себе. Рост?

Кот. С церковь.

Ланцелот. Ага, все ясно. Ну, спасибо, кот.

Кот. Вы будете драться с ним?

Ланцелот. Посмотрим.

Кот. Умоляю вас – вызовите его на бой. Он, конечно, убьет вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, случайно или чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьете.

Ланцелот. Спасибо, кот.

Кот. Встаньте.

Ланцелот. Что случилось?

Кот. Они идут.

Ланцелот. Хоть бы она мне понравилась, ах, если бы она мне понравилась! Это так помогает... (*Смотрит в окно.*) Нравится! Кот, она очень славная девушка. Что это? Кот! Она улыбается! Она совершенно спокойна! И отец ее весело улыбается. Ты обманул меня?

Кот. Нет. Самое печальное в этой истории и есть то, что они улыбаются. Тише. Здравствуйте! Давайте ужинать, дорогие мои друзья.

Входят Эльза и Шарлемань.

Ланцелот. Здравствуйте, добрый господин и прекрасная барышня.

Шарлемань. Здравствуйте, молодой человек.

Ланцелот. Ваш дом смотрел на меня так приветливо, и ворота были открыты, и в кухне горел огонь, и я вошел без приглашения. Простите.

Шарлемань. Не надо просить прощения. Наши двери открыты для всех.

Эльза. Садитесь, пожалуйста. Дайте мне вашу шляпу, я повешу ее за дверь. Сейчас я накрою на стол... Что с вами?

Ланцелот. Ничего.

Эльза. Мне показалось, что вы... испугались меня.

Ланцелот. Нет, нет... Это я просто так.

Шарлемань. Садитесь, друг мой. Я люблю странников. Это оттого, вероятно, что я всю жизнь прожил, не выезжая из города. Откуда вы пришли?

Ланцелот. С юга.

Шарлемань. И много приключений было у вас на пути?

Ланцелот. Ах, больше, чем мне хотелось бы.

Эльза. Вы устали, наверное. Садитесь же. Что же вы стоите?

Ланцелот. Спасибо.

Шарлемань. У нас вы можете хорошо отдохнуть. У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается.

Ланцелот. Никогда?

Шарлемань. Никогда. На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. У одного дома едва не снесло крышу. Но это не такое уж большое событие.

Эльза. Вот и ужин на столе. Пожалуйста. Что же вы?

Ланцелот. Простите меня, но... Вы говорите, что у вас очень тихий город?

Эльза. Конечно.

Ланцелот. А... а дракон?

Шарлемань. Ах это... Но ведь мы так привыкли к нему. Он уже четыреста лет живет у нас.

Ланцелот. Но... мне говорили, что дочь ваша...

Эльза. Господин прохожий...

Ланцелот. Меня зовут Ланцелот.

Эльза. Господин Ланцелот, простите, я вовсе не делаю вам замечания, но все-таки прошу вас: ни слова об этом.

Ланцелот. Почему?

Эльза. Потому что тут уж ничего не поделаешь.

Ланцелот. Вот как?

Шарлемань. Да, уж тут ничего не сделать. Мы сейчас гуляли в лесу и обо всем так хорошо, так подробно переговорили. Завтра, как только дракон уведет ее, я тоже умру.

Эльза. Папа, не надо об этом.

Шарлемань. Вот и все, вот и все.

Ланцелот. Простите, еще только один вопрос. Неужели никто не пробовал драться с ним?

Шарлемань. Последние двести лет – нет. До этого с ним часто сражались, но он убивал всех своих противников. Он удивительный стратег и великий тактик. Он атакует врага внезапно, забрасывает камнями сверху, потом устремляется отвесно вниз, прямо на голову коня, и бьет его огнем, чем совершенно деморализует бедное животное. А потом он разрывает когтями всадника. Ну, и в конце концов против него перестали выступать...

Ланцелот. А целым городом против него не выступали?

Шарлемань. Выступали.

Ланцелот. Ну и что?

Шарлемань. Он сжег предместья и половину жителей свел с ума ядовитым дымом. Это великий воин.

Эльза. Возьмите еще масла, прошу вас.

Ланцелот. Да, да, я возьму. Мне нужно набраться сил. Итак – простите, что я все спрашиваю, – против дракона никто и не пробует выступать? Он совершенно обнаглел?

Шарлемань. Нет, что вы! Он так добр!

Ланцелот. Добр?

Шарлемань. Уверяю вас. Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятит его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии.

Ланцелот. Давно это было?

Шарлемань. О нет. Всего восемьдесят два года назад. Но добрые дела не забываются.

Ланцелот. А что он еще сделал доброго?

Шарлемань. Он избавил нас от цыган.

Ланцелот. Но цыгане – очень милые люди.

Шарлемань. Что вы! Какой ужас! Я, правда, в жизни своей не видал ни одного цыгана. Но я еще в школе проходил, что эти люди страшные.

Ланцелот. Но почему?

Шарлемань. Это бродяги по природе, по крови. Они враги любой государственной системы, иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили бы туда-сюда. Их песни лишены мужественности, а идеи разрушительны. Они воруют детей. Они проникают всюду. Теперь мы вовсе очистились от них, но еще сто лет назад любой брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови.

Ланцелот. Кто вам рассказал все это о цыганах?

Шарлемань. Наш дракон. Цыгане нагло выступали против него в первые годы его власти.

Ланцелот. Славные, нетерпеливые люди.

Шарлемань. Не надо, пожалуйста, не надо так говорить.

Ланцелот. Что он ест, ваш дракон?

Шарлемань. Город наш дает ему тысячу коров, две тысячи овец, пять тысяч кур и два пуда соли в месяц. Летом и осенью сюда еще добавляется десять огородов салата, спаржи и цветной капусты.

Ланцелот. Он объедает вас!

Шарлемань. Нет, что вы! Мы не жалуемся. А как же можно иначе? Пока он здесь – ни один другой дракон не осмелится нас тронуть.

Ланцелот. Да другие-то, по-моему, все давно перебиты!

Шарлемань. А вдруг нет? Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного. Довольно о нем, прошу вас. Лучше вы расскажите нам что-нибудь интересное.

Ланцелот. Хорошо. Вы знаете, что такое жалобная книга?

Эльза. Нет.

Ланцелот. Так найдите же. В пяти годах ходьбы отсюда, в Черных горах, есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга, исписанная до половины. К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляется к написанным прежде, прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир! Горы, травы, камни, деревья, реки видят, что делают люди. Им известны все преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно. От ветки к ветке, от капли к капле, от облака к облаку доходят до пещеры в Черных горах человеческие жалобы, и книга растет. Если бы на свете не было этой книги, то деревья засохли бы от тоски, а вода стала бы горькой. Для кого пишется эта книга? Для меня.

Эльза. Для вас?

Ланцелот. Для нас. Для меня и немногих других. Мы внимательные, легкие люди. Мы проводали, что есть такая книга, и не поленились добраться до нее. А заглянувший в эту книгу однажды не успокоится вовеки. Ах, какая это жалобная книга! На эти жалобы нельзя не ответить. И мы отвечаем.

Эльза. А как?

Ланцелот. Мы вмешиваемся в чужие дела. Мы помогаем тем, кому необходимо помочь. И уничтожаем тех, кого необходимо уничтожить. Помочь вам?

Эльза. Как?

Шарлемань. Чем вы можете нам помочь?

Кот. Мяу!

Ланцелот. Три раза я был ранен смертельно, и как раз теми, кого насильно спасал. И все-таки, хоть вы меня и не просите об этом, я вызову на бой дракона! Слышите, Эльза!

Эльза. Нет, нет! Он убьет вас, и это отравит последние часы моей жизни.

Кот. Мяу!

Ланцелот. Я вызову на бой дракона!

Раздается все нарастающий свист, шум, вой, рев. Стекла дрожат. Зарево вспыхивает за окнами.

Кот. Легко на помине!

Вой и свист внезапно обрываются. Громкий стук в дверь.

Шарлемань. Войдите!

Входит богато одетый лакей.

Лакей. К вам господин дракон.

Шарлемань. Милости просим!

Лакей широко распахивает дверь. Пауза. И вот не спеша в комнату входит пожилой, но крепкий, моложавый, белобрысый человек, с солдатской выправкой. Волосы ежиком. Он широко улыбается. Вообще обращение его, несмотря на грубоватость, не лишено некоторой приятности. Он глуховат.

Человек. Здорово, ребята! Эльза, здравствуй, крошка! А у вас гость. Кто это?

Шарлемань. Это странник, прохожий.

Человек. Как? Рапортуй громко, отчетливо, по-солдатски.

Шарлемань. Это странник!

Человек. Не цыган?

Шарлемань. Что вы! Это очень милый человек.

Человек. А?

Шарлемань. Милый человек.

Человек. Хорошо. Странник! Что ты не смотришь на меня? Чего ты уставился на дверь?

Ланцелот. Я жду, когда войдет дракон.

Человек. Ха-ха! Я – дракон.

Ланцелот. Вы? А мне говорили, что у вас три головы, когти, огромный рост!

Дракон. Я сегодня попросту, без чинов.

Шарлемань. Господин дракон так давно живет среди людей, что иногда сам превращается в человека и заходит к нам в гости по-дружески.

Дракон. Да. Мы воистину друзья, дорогой Шарлемань. Каждому из вас я даже более чем просто друг. Я друг вашего детства. Мало того, я друг детства вашего отца, деда, прадеда. Я помню вашего прапрадеда в коротеньких штанишках. Черт! Непрошенная слеза. Ха-ха! Приезжий таращит глаза. Ты не ожидал от меня таких чувств? Ну? Отвечай! Растерялся, сукин сын. Ну, ну. Ничего. Ха-ха. Эльза!

Эльза. Да, господин дракон.

Дракон. Дай лапку.

Эльза протягивает руку Дракону.

Плутовка. Шалунья. Какая теплая лапка. Мордочку выше! Улыбайся. Так. Ты чего, прохожий? А?

Ланцелот. Любуюсь.

Дракон. Молодец. Четко отвечаешь. Любуйся. У нас попросту, приезжий. По-солдатски. Раз, два, горе не беда! Ешь!

Ланцелот. Спасибо, я сыт.

Дракон. Ничего, ешь. Зачем приехал?

Ланцелот. По делам.

Дракон. А?

Ланцелот. По делам.

Дракон. А по каким? Ну, говори. А? Может, я и помогу тебе. Зачем ты приехал сюда?

Ланцелот. Чтобы убить тебя.

Дракон. Громче!

Эльза. Нет, нет! Он шутит! Хотите, я еще раз дам вам руку, господин дракон?

Дракон. Чего?

Ланцелот. Я вызываю тебя на бой, слышишь ты, дракон!

Дракон молчит, побагровев.

Я вызываю тебя на бой в третий раз, слышишь?

Раздается оглушительный, страшный, тройной рев. Несмотря на мощь этого рева, от которого стены дрожат, он не лишен некоторой музыкальности. Ничего человеческого в этом реве нет. Это ревет Дракон, сжав кулаки и топая ногами.

Дракон *(внезапно оборвав рев. Спокойно.)* Дурак. Ну? Чего молчишь? Страшно?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Нет?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Ну хорошо же. *(Делает легкое движение плечами и вдруг поразительно меняется. Новая голова появляется у Дракона на плечах. Старая исчезает бесследно. Серьезный, сдержанный, высоколобый, узколицый, сидящий блондин стоит перед Ланцелотом.)*

Кот. Не удивляйтесь, дорогой Ланцелот. У него три башки. Он их и меняет, когда пожелает.

Дракон *(голос его изменился так же, как лицо. Негромко. Суховато).* Ваше имя Ланцелот?

Ланцелот. Да.

Дракон. Вы потомок известного странствующего рыцаря Ланцелота?

Ланцелот. Это мой дальний родственник.

Дракон. Принимаю ваш вызов. Странствующие рыцари – те же цыгане. Вас нужно уничтожить.

Ланцелот. Я не дамся.

Дракон. Я уничтожил: восемьсот девять рыцарей, девятьсот пять людей неизвестного звания, одного пьяного старика, двух сумасшедших, двух женщин – мать и тетку девушек, избранных мной, и одного мальчика двенадцати лет – брата такой же девушки. Кроме того, мною было уничтожено шесть армий и пять мятежных толп. Садитесь, пожалуйста.

Ланцелот *(садится.)* Благодарю вас.

Дракон. Вы курите? Курите, не стесняйтесь.

Ланцелот. Спасибо. *(Достает трубку, набивает не спеша табаком.)*

Дракон. Вы знаете, в какой день я появился на свет?

Ланцелот. В несчастный.

Дракон. В день страшной битвы. В тот день сам Атила потерпел поражение – вам понятно, сколько воинов надо было уложить для этого? Земля пропиталась кровью. Листья на деревьях к полуночи стали коричневыми. К рассвету огромные черные грибы – они называются гробовики – выросли под деревьями. А вслед за ними из-под земли выполз я. Я – сын войны. Война – это я. Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах – это холодная кровь. В бою я холоден, спокоен и точен.

При слове «точен» Дракон делает легкое движение рукой. Раздается сухое щелканье. Из указательного пальца Дракона лентой вылетает пламя. Зажигает табак в трубке, которую к этому времени набил Ланцелот.

Ланцелот. Благодарю вас. *(Затягивается с наслаждением.)*

Дракон. Вы против меня, – следовательно, вы против войны?

Ланцелот. Что вы! Я воюю всю жизнь.

Дракон. Вы чужой здесь, а мы издревле научились понимать друг друга. Весь город будет смотреть на вас с ужасом и обрадуется вашей смерти. Вам предстоит бесславная гибель. Понимаете?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Я вижу, что вы решительны по-прежнему?

Ланцелот. Даже больше.

Дракон. Вы – достойный противник.

Ланцелот. Благодарю вас.

Дракон. Я буду воевать с вами всерьез.

Ланцелот. Отлично.

Дракон. Это значит, что я убью вас немедленно. Сейчас. Здесь.

Ланцелот. Но я безоружен!

Дракон. А вы хотите, чтобы я дал вам время вооружиться? Нет. Я ведь сказал, что буду воевать с вами всерьез. Я нападу на вас внезапно, сейчас... Эльза, принесите метелку!

Эльза. Зачем?

Дракон. Я сейчас испепелю этого человека, а вы выметете его пепел.

Ланцелот. Вы боитесь меня?

Дракон. Я не знаю, что такое страх.

Ланцелот. Почему же тогда вы так спешите? Дайте мне сроку до завтра. Я найду себе оружие, и мы встретимся на поле.

Дракон. А зачем?

Ланцелот. Чтобы народ не подумал, что вы трусите.

Дракон. Народ ничего не узнает. Эти двое будут молчать. Вы умрете сейчас храбро, тихо и бесславно. *(Поднимает руку.)*

Шарлемань. Стойте!

Дракон. Что такое?

Шарлемань. Вы не можете убить его.

Дракон. Что?

Шарлемань. Умоляю вас – не гневайтесь, я предан вам всей душой. Но ведь я архивариус.

Дракон. При чем здесь ваша должность?

Шарлемань. У меня хранится документ, подписанный вами триста восемьдесят два года назад. Этот документ не отменен. Видите, я не возражаю, а только напоминаю. Там стоит подпись: «Дракон».

Дракон. Ну и что?

Шарлемань. Это моя дочка, в конце концов. Я ведь желаю, чтобы она жила подольше. Это вполне естественно.

Дракон. Короче.

Шарлемань. Будь что будет – я возражаю. Убить его вы не можете. Всякий вызвавший вас – в безопасности до дня боя, пишете вы и подтверждаете это клятвой. И день боя назначаете не вы, а он, вызвавший вас, – так сказано в документе и подтверждено клятвой. А весь город должен помогать тому, кто вызовет вас, и никто не будет наказан – это тоже подтверждается клятвой.

Дракон. Когда был написан этот документ?

Шарлемань. Триста восемьдесят два года назад.

Дракон. Я был тогда наивным, сентиментальным, неопытным мальчишкой.

Шарлемань. Но документ не отменен.

Дракон. Мало ли что...

Шарлемань. Но документ...

Дракон. Довольно о документах. Мы взрослые люди.

Шарлемань. Но ведь вы сами подписали... Я могу сбежать за документом.

Дракон. Ни с места.

Шарлемань. Нашелся человек, который пробует спасти мою девочку. Любовь к ребенку – ведь это же ничего. Это можно. А кроме того, гостеприимство – это ведь тоже вполне можно. Зачем вы смотрите на меня так страшно? *(Закрывает лицо руками.)*

Эльза. Папа! Папа!

Шарлемань. Я протестую!

Дракон. Ладно. Сейчас я уничтожу все гнездо.

Ланцелот. И весь мир узнает, что вы трус!

Дракон. Откуда?

Кот одним прыжком вылетает в окно. Шипит издали.

Кот. Всем, всем, все, все расскажу, старый ящер.

Дракон снова раздражается ревом, рев этот так же мощен, но на этот раз в нем явственно слышны хрипы, стоны, отрывистый кашель. Это ревет огромное древнее злобное чудовище.

Дракон *(внезапно оборвав вой).* Ладно. Будем драться завтра, как вы просили.

Быстро уходит. И сейчас же за дверью поднимается свист, гул, шум. Стены дрожат, мигает лампа, свист, гул и шум затихают, удаляясь.

Шарлемань. Улетел! Что же я наделал! Ах, что я наделал! Я старый проклятый себя-любец. Но ведь я не мог иначе! Эльза, ты сердисься на меня?

Эльза. Нет, что ты!

Шарлемань. Я вдруг ужасно ослабел. Простите меня. Я лягу. Нет, нет, не провожай меня. Оставайся с гостем. Занимай его разговорами, – ведь он был так любезен с нами. Простите, я пойду прилягу. *(Уходит.)*

Пауза.

Эльза. Зачем вы затеяли все это? Я не упрекаю вас – но все было так ясно и достойно. Вовсе не так страшно умереть молодой. Все состарятся, а ты нет.

Ланцелот. Что вы говорите! Подумайте! Деревья и те вздыхают, когда их рубят.

Эльза. А я не жалуюсь.

Ланцелот. И вам не жалко отца?

Эльза. Но ведь он умрет как раз тогда, когда ему хочется умереть. Это, в сущности, счастье.

Ланцелот. И вам не жалко расставаться с вашими подругами?

Эльза. Нет, ведь если бы не я, дракон выбрал бы кого-нибудь из них.

Ланцелот. А жених ваш?

Эльза. Откуда вы знаете, что у меня был жених?

Ланцелот. Я почувствовал это. А с женихом вам не жалко расставаться?

Эльза. Но ведь дракон, чтобы утешить Генриха, назначил его своим личным секретарем.

Ланцелот. Ах вот оно что. Ну тогда, конечно, с ним не так уж жалко расставаться. Ну а ваш родной город? Вам не жалко его оставить?

Эльза. Но ведь как раз за свой родной город я и погибаю.

Ланцелот. И он равнодушно принимает вашу жертву?

Эльза. Нет, нет! Меня не станет в воскресенье, а до самого вторника весь город погрузится в траур. Целых три дня никто не будет есть мяса. К чаю будут подаваться особые булочки под названием «бедная девушка» – в память обо мне.

Ланцелот. И это все?

Эльза. А что еще можно сделать?

Ланцелот. Убить дракона.

Эльза. Это невозможно.

Ланцелот. Дракон вывихнул вашу душу, отравил кровь и затуманил зрение. Но мы все это исправим.

Эльза. Не надо. Если верно то, что вы говорите обо мне, значит, мне лучше умереть.

Вбегают Кот.

Кот. Восемь моих знакомых кошек и сорок восемь моих котят обежали все дома и рассказали о предстоящей драке. Мяу! Бургомистр бежит сюда!

Ланцелот. Бургомистр? Прелестно!

Вбегают бургомистр.

Бургомистр. Здравствуй, Эльза. Где прохожий?

Ланцелот. Вот я.

Бургомистр. Прежде всего, будьте добры, говорите потише, по возможности без жестов, двигайтесь мягко и не смотрите мне в глаза.

Ланцелот. Почему?

Бургомистр. Потому что нервы у меня в ужасном состоянии. Я болен всеми нервными и психическими болезнями, какие есть на свете, и, сверх того, еще тремя, неизвестными до сих пор. Думаете, легко быть бургомистром при драконе?

Ланцелот. Вот я убью дракона, и вам станет легче.

Бургомистр. Легче? Ха-ха! Легче! Ха-ха! Легче! *(Впадает в истерическое состояние. Пьет воду. Успокаивается.)* То, что вы осмелились вызвать господина дракона, – несчастье. Дела были в порядке. Господин дракон своим влиянием держал в руках моего помощника, редкого негодяя, и всю его банду, состоящую из купцов-мукомолов. Теперь все перепутается. Господин дракон будет готовиться к бою и забросит дела городского управления, в которые он только что начал вникать.

Ланцелот. Да поймите же вы, несчастный человек, что я спасу город!

Бургомистр. Город? Ха-ха! Город! Город! Ха-ха! *(Пьет воду, успокаивается.)* Мой помощник такой негодяй, что я пожертвую двумя городами, только бы уничтожить его. Лучше пять драконов, чем такая гадина, как мой помощник. Умоляю вас, уезжайте.

Ланцелот. Не уеду.

Бургомистр. Поздравляю вас, у меня припадок каталепсии. *(Застывает с горькой улыбкой на лице.)*

Ланцелот. Ведь я спасу всех! Поймите!

Бургомистр молчит.

Не понимаете?

Бургомистр молчит. Ланцелот обрызгивает его водой.

Бургомистр. Нет, я не понимаю вас. Кто вас просит драться с ним?

Ланцелот. Весь город этого хочет.

Бургомистр. Да? Посмотрите в окно. Лучшие люди города прибежали просить вас, чтобы вы убирались прочь!

Ланцелот. Где они?

Бургомистр. Вон, жмутся у стен. Подойдите ближе, друзья мои.

Ланцелот. Почему они идут на цыпочках?

Бургомистр. Чтобы не действовать мне на нервы. Друзья мои, скажите Ланцелоту, чего вы от него хотите. Ну! Раз! Два! Три!

Хор голосов. Уезжайте прочь от нас! Скорее! Сегодня же!

Ланцелот отходит от окна.

Бургомистр. Видите! Если вы гуманный и культурный человек, то подчинитесь воле народа.

Ланцелот. Ни за что!

Бургомистр. Поздравляю вас, у меня легкое помешательство. *(Упирает одну руку в бок, другую изгибает изящно.)* Я чайник, заварите меня!

Ланцелот. Я понимаю, почему эти людишки прибежали сюда на цыпочках.

Бургомистр. Ну, почему же это?

Ланцелот. Чтобы не разбудить настоящих людей. Вот я сейчас поговорю с ними. *(Выбегает.)*

Бургомистр. Вскипятите меня! Впрочем, что он может сделать? Дракон прикажет – и мы его засадим в тюрьму. Дорогая Эльза, не волнуйся. Секунда в секунду в назначенный срок наш дорогой дракон заключит тебя в свои объятия. Будь покойна.

Эльза. Хорошо.

Стук в дверь.

Войдите.

Входит тот самый лакей, который объявлял о приходе Дракона.

Бургомистр. Здравствуй, сынок.

Лакей. Здравствуй, отец.

Бургомистр. Ты от него? Никакого боя не будет, конечно? Ты принес приказ заточить Ланцелота в тюрьму?

Лакей. Господин дракон приказывает: первое – назначить бой на завтра, второе – Ланцелота снабдить оружием, третье – быть поумнее.

Бургомистр. Поздравляю вас, у меня зашел ум за разум. Ум! Ау! Отзовись! Выйди!

Лакей. Мне приказано переговорить с Эльзой наедине.

Бургомистр. Ухожу, ухожу, ухожу! *(Торопливо удаляется.)*

Лакей. Здравствуй, Эльза.

Эльза. Здравствуй, Генрих.

Генрих. Ты надеешься, что Ланцелот спасет тебя?

Эльза. Нет. А ты?

Генрих. И я нет.

Эльза. Что дракон велел передать мне?

Генрих. Он велел передать, чтобы ты убила Ланцелота, если это понадобится.

Эльза *(в ужасе)*. Как?

Генрих. Ножом. Вот он, этот ножик. Он отравленный...

Эльза. Я не хочу!

Генрих. А господин дракон на это велел сказать, что иначе он перебьет всех твоих подруг.

Эльза. Хорошо. Скажи, что я постараюсь.

Генрих. А господин дракон на это велел сказать: всякое колебание будет наказано как ослушание.

Эльза. Я ненавижу тебя!

Генрих. А господин дракон на это велел сказать, что умеет награждать верных слуг.

Эльза. Ланцелот убьет твоего дракона!

Генрих. А господин дракон на это велел сказать: посмотрим!

Занавес

Действие второе

Центральная площадь города. Направо – ратуша с башенкой, на которой стоит часовая. Прямо – огромное мрачное коричневое здание без окон, с гигантской чугунной дверью во всю стену, от фундамента до крыши. На двери надпись готическими буквами: «Людам вход безусловно запрещен». Налево – широкая старинная крепостная стена. В центре площади – колодец с резными перилами и навесом. Генрих, без ливреи, в фартуке, чистит медные украшения на чугунной двери.

Генрих *(напевает)*. Посмотрим, посмотрим, провозгласил дракон. Посмотрим, посмотрим, взревел старик дра-дра. Старик дракоша прогремел: посмотрим, черт возьми! И мы действительно посмо! Посмотрим, тру-ля-ля!

Из ратуши выбегает Бургомистр. На нем смиренная рубашка.

Бургомистр. Здравствуй, сынок. Ты посылал за мной?

Генрих. Здравствуй, отец. Я хотел узнать, как там у вас идут дела. Заседание городского самоуправления закрылось?

Бургомистр. Какое там! За целую ночь мы едва успели утвердить повестку дня.

Генрих. Умаялся?

Бургомистр. А ты как думаешь? За последние полчаса мне переменяли три смиренные рубашки. *(Зевает.)* Не знаю, к дождю, что ли, но только сегодня ужасно разыгралась моя проклятая шизофрения. Так и брежу, так и брежу... Галлюцинации, навязчивые идеи, то-се. *(Зевает.)* Табак есть?

Генрих. Есть.

Бургомистр. Развяжи меня. Перекурим.

Генрих развязывает отца. Усаживаются рядом на ступеньках дворца. Закуривают.

Генрих. Когда же вы решите вопрос об оружии?

Бургомистр. О каком оружии?

Генрих. Для Ланцелота.

Бургомистр. Для какого Ланцелота?

Генрих. Ты что, с ума сошел?

Бургомистр. Конечно. Хорош сын. Совершенно забыл, как тяжело болен его бедняга отец. *(Кричит.)* О люди, люди, возлюбите друг друга! *(Спокойно.)* Видишь, какой бред.

Генрих. Ничего, ничего, папа. Это пройдет.

Бургомистр. Я сам знаю, что пройдет, а все-таки неприятно.

Генрих. Ты послушай меня. Есть важные новости. Старик дракоша нервничает.

Бургомистр. Неправда!

Генрих. Уверю тебя. Всю ночь, не жалея крылышек, наш старикан порхал неведомо где. Заявился домой только на рассвете. От него ужасно несло рыбой, что с ним случается всегда, когда он озабочен. Понимаешь?

Бургомистр. Так, так.

Генрих. И мне удалось установить следующее. Наш добрый ящер порхал всю ночь исключительно для того, чтобы разузнать всю подноготную о славном господине Ланцелоте.

Бургомистр. Ну, ну?

Генрих. Не знаю, в каких притонах – на Гималаях или на горе Арарат, в Шотландии или на Кавказе, – но только старичок разведal, что Ланцелот – профессиональный герой. Презираю людишек этой породы. Но дра-дра, как профессиональный злодей, очевидно, придает им кое-какое значение. Он ругался, скрипел, ныл. Потом дедушке захотелось пивца. Вылавив целую бочку любимого своего напитка и не отдав никаких приказаний, дракон вновь

расправил свои перепонки и вот до сей поры шныряет в небесах, как пичужка. Тебя это не тревожит?

Бургомистр. Ни капельки.

Генрих. Папочка, скажи мне – ты старше меня... опытней... Скажи, что ты думаешь о предстоящем бое? Пожалуйста, ответь. Неужели Ланцелот может... Только отвечай попросту, без казенных восторгов, – неужели Ланцелот может победить? А? Папочка? Ответь мне!

Бургомистр. Пожалуйста, сынок, я отвечу тебе попросту, от души. Я так, понимаешь, малыш, искренне привязан к нашему дракоше! Вот честное слово даю. Сроднился я с ним, что ли? Мне, понимаешь, даже, ну как тебе сказать, хочется отдать за него жизнь. Ей-богу правда, вот провалиться мне на этом месте! Нет, нет, нет! Он, голубчик, победит! Он победит, чудушко-юдушко! Душечка-цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, люблю я его как! Ой, люблю! Люблю – и крышка. Вот тебе и весь ответ.

Генрих. Не хочешь ты, папочка, попросту, по душам поговорить с единственным своим сыном!

Бургомистр. Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. То есть я, конечно, сошел с ума, но не до такой степени. Это дракон приказал тебе допросить меня?

Генрих. Ну что ты, папа!

Бургомистр. Молодец, сынок! Очень хорошо провел весь разговор. Горжусь тобой. Не потому, что я отец, клянусь тебе. Я горжусь тобою как знаток, как старый служака. Ты запомнил, что я ответил тебе?

Генрих. Разумеется.

Бургомистр. А эти слова: чудушко-юдушко, душечка-цыпочка, летун-хлопотун?

Генрих. Все запомнил.

Бургомистр. Ну вот так и доложи!

Генрих. Хорошо, папа.

Бургомистр. Ах ты мой единственный, ах ты мой шпиончик... Карьерочку делает, крошка. Денег не надо?

Генрих. Нет, пока не нужно, спасибо, папочка.

Бургомистр. Бери, не стесняйся. Я при деньгах. У меня как раз вчера был припадок kleptomании. Бери...

Генрих. Спасибо, не надо. Ну а теперь скажи мне правду..

Бургомистр. Ну что ты, сыночек, как маленький, – правду, правду... Я ведь не обыватель какой-нибудь, а бургомистр. Я сам себе не говорю правды уже столько лет, что и забыл, какая она, правда-то. Меня от нее воротит, отшвыривает. Правда – она знаешь чем пахнет, проклятая? Довольно, сын. Слава дракону! Слава дракону! Слава дракону!

Часовой на башне ударяет алебардой об пол. Кричит.

Часовой. Смирно! Равнение на небо! Его превосходительство показались над Серыми горами!

Генрих и бургомистр вскакивают и вытягиваются, подняв головы к небу. Слышен отдаленный гул, который постепенно замирает.

Вольно! Его превосходительство повернули обратно и скрылись в дыму и пламени!

Генрих. Патрулирует.

Бургомистр. Так, так. Слушай, а теперь ты мне ответь на один вопросик. Дракон действительно не дал никаких приказаний, а, сынок?

Генрих. Не дал, папа.

Бургомистр. Убивать не будем?

Генрих. Кого?

Бургомистр. Нашего спасителя.

Генрих. Ах, папа, папа.

Бургомистр. Скажи, сынок. Не приказал он потихоньку тюкнуть господина Ланцелота? Не стесняйся, говори... Чего там... Дело житейское. А, сынок? Молчишь?

Генрих. Молчу.

Бургомистр. Ну ладно, молчи. Я сам понимаю: ничего не поделаешь – служба.

Генрих. Напоминаю вам, господин бургомистр, что с минуты на минуту должна состояться торжественная церемония вручения оружия господину герою. Возможно, что сам драдра захочет почтить церемонию своим присутствием, а у тебя еще ничего не готово.

Бургомистр (*зевает и потягивается*). Ну что ж, пойду. Мы в один миг подберем ему оружие какое-нибудь. Останется доволен. Завяжи-ка мне рукава... Вот и он идет! Ланцелот идет!

Генрих. Уведи его! Сейчас сюда придет Эльза, с которой мне нужно поговорить.

Входит Ланцелот.

Бургомистр (*кликушествовая*). Слава тебе, слава, осанна, Георгий Победоносец! Ах, простите, я обознался в бреде. Мне вдруг почудилось, что вы так на него похожи.

Ланцелот. Очень может быть. Это мой дальний родственник.

Бургомистр. Как скоротали ночку?

Ланцелот. Бродил.

Бургомистр. Подружились с кем-нибудь?

Ланцелот. Конечно.

Бургомистр. С кем?

Ланцелот. Боязливые жители вашего города травили меня собаками. А собаки у вас очень толковые. Вот с ними-то я и подружился. Они меня поняли, потому что любят своих хозяев и желают им добра. Мы болтали почти до рассвета.

Бургомистр. Блох не набрались?

Ланцелот. Нет. Это были славные, аккуратные псы.

Бургомистр. Вы не помните, как их звали?

Ланцелот. Они просили не говорить.

Бургомистр. Терпеть не могу собак.

Ланцелот. Напрасно.

Бургомистр. Слишком простые существа.

Ланцелот. Вы думаете, это так просто – любить людей? Ведь собаки великолепно знают, что за народ их хозяева. Плачут, а любят. Это настоящие работники. Вы посылали за мной?

Бургомистр. За мной, воскликнул аист – и клюнул змею своим острым клювом. За мной, сказал король – и оглянулся на королеву. За мной летели красотишки верхом на изящных тросточках. Короче говоря – да, я посылал за вами, господин Ланцелот.

Ланцелот. Чем могу служить?

Бургомистр. В магазине Мюллера получена свежая партия сыра. Лучшее украшение девушки – скромность и прозрачное платьице. На закате дня дикие утки пролетели над колыбелькой. Вас ждут на заседание городского самоуправления, господин Ланцелот.

Ланцелот. Зачем?

Бургомистр. Зачем растут липы на улице Драконовых Лапок? Зачем танцы, когда хочется поцелуев? Зачем поцелуи, когда стучат копыта? Члены городского самоуправления должны лично увидеть вас, чтобы сообразить, какое именно оружие подходит вам больше всего, господин Ланцелот. Идемте, покажемся им!

Уходят.

Генрих. Посмотрим, посмотрим, провозгласил дракон; посмотрим, посмотрим, взревел старик драдра; старик дракоша прогремел: посмотрим, черт возьми, – и мы действительно посмо!

Входит Эльза.

Эльза!

Эльза. Да, я. Ты посылал за мной?

Генрих. Посылал. Как жаль, что на башне стоит часовой. Если бы не эта в высшей степени досадная помеха, я бы тебя обнял и поцеловал.

Эльза. А я бы тебя ударила.

Генрих. Ах, Эльза, Эльза! Ты всегда была немножко слишком добродетельна! Но это шло тебе. За скромностью твоей скрывается нечто. Дра-дра чувствует девушек. Он всегда выбирал самых многообещающих, шалун-попрыгун. А Ланцелот еще не пытался ухаживать за тобой?

Эльза. Замолчи.

Генрих. Впрочем, конечно, нет. Будь на твоём месте старая дура, он все равно полез бы сражаться. Ему все равно, кого спасти. Он и не разглядел, какая ты.

Эльза. Мы только что познакомились.

Генрих. Это не оправдание.

Эльза. Ты звал меня только для того, чтобы сообщить все это?

Генрих. О нет. Я звал тебя, чтобы спросить – хочешь выйти замуж за меня?

Эльза. Перестань!

Генрих. Я не шучу. Я уполномочен передать тебе следующее: если ты будешь послушна и в случае необходимости убьешь Ланцелота, то в награду дра-дра отпустит тебя.

Эльза. Не хочу.

Генрих. Дай договорить. Вместо тебя избранницей будет другая, совершенно незнакомая девушка из простонародья. Она все равно намечена на будущий год. Выбирай, что лучше – глупая смерть или жизнь, полная таких радостей, которые пока только снились тебе, да и то так редко, что даже обидно.

Эльза. Он трусил!

Генрих. Кто? Дра-дра? Я знаю все его слабости. Он самодур, солдафон, паразит – все что угодно, но только не трус.

Эльза. Вчера он угрожал, а сегодня торгуется?

Генрих. Этого добился я.

Эльза. Ты?

Генрих. Я настоящий победитель дракона, если хочешь знать. Я могу выхлопотать все. Я ждал случая – и дождался. Я не настолько глуп, чтобы уступать тебя кому бы то ни было.

Эльза. Не верю тебе.

Генрих. Верись.

Эльза. Все равно, я не могу убить человека!

Генрих. А нож тыхватила с собой тем не менее. Вон он висит у тебя на поясе. Я ухожу, дорогая. Мне надо надеть парадную ливрею. Но я ухожу спокойный. Ты выполнишь приказ ради себя и ради меня. Подумай! Жизнь, вся жизнь перед нами – если ты захочешь. Подумай, моя очаровательная. (*Уходит.*)

Эльза. Боже мой! У меня щеки горят так, будто я целовалась с ним. Какой позор! Он почти уговорил меня... Значит, вот я такая!.. Ну и пусть. И очень хорошо. Довольно! Я была самая послушная в городе. Верила всему. И чем это кончилось? Да, меня все уважали, а счастье доставалось другим. Они сидят сейчас дома, выбирают платья понаряднее, гладят оборочки. Завиваются. Собираются идти любоваться на мое несчастье. Ах, я так и вижу, как они пудрятся у зеркала и говорят: «Бедная Эльза, бедная девушка, она была такая хорошая!» Одна я, одна из всего города, стою на площади и мучаюсь. И дурак часовой таращит на меня глаза, думает о том, что сделает сегодня со мной дракон. И завтра этот солдат будет жив, будет отдыхать после дежурства. Пойдет гулять к водопаду, где река такая веселая, что даже

самые печальные люди улыбаются, глядя, как славно она прыгает. Или пойдет он в парк, где садовник вырастил чудесные анютины глазки, которые щурятся, подмигивают и даже умеют читать, если буквы крупные и книжка кончается хорошо. Или он поедет кататься по озеру, которое когда-то вскипятил дракон и где русалки до сих пор такие смирные. Они не только никого не топят, а даже торгуют, сидя на мелком месте, спасательными поясами. Но они по-прежнему прекрасны, и солдаты любят болтать с ними. И расскажет русалкам этот глупый солдат, как заиграла веселая музыка, как все заплакали, а дракон повел меня к себе. И русалки примутся ахать: «Ах, бедная Эльза, ах, бедная девушка, сегодня такая хорошая погода, а ее нет на свете». Не хочу! Хочу все видеть, все слышать, все чувствовать. Вот вам! Хочу быть счастливой! Вот вам! Я взяла нож, чтобы убить себя. И не убью. Вот вам!

Ланцелот выходит из ратуши.

Ланцелот. Эльза! Какое счастье, что я вижу вас!

Эльза. Почему?

Ланцелот. Ах, славная моя барышня, у меня такой трудный день, что душа так и требует отдыха, хоть на минуточку. И вот, как будто нарочно, вдруг вы встречаетесь мне.

Эльза. Вы были на заседании?

Ланцелот. Был.

Эльза. Зачем они звали вас?

Ланцелот. Предлагали деньги, лишь бы я отказался от боя.

Эльза. И что вы им ответили?

Ланцелот. Ответил: ах вы бедные дураки! Не будем говорить о них. Сегодня, Эльза, вы еще красивее, чем вчера. Это верный признак того, что вы действительно нравитесь мне. Вы верите, что я освобожу вас?

Эльза. Нет.

Ланцелот. А я не обижаюсь. Вот как вы мне нравитесь, оказывается.

Вбегают подруги Эльзы.

1-я подруга. А вот и мы!

2-я подруга. Мы лучшие подруги Эльзы.

3-я подруга. Мы жили душа в душу столько лет, с самого детства.

1-я подруга. Она у нас была самая умная.

2-я подруга. Она была у нас самая славная.

3-я подруга. И все-таки любила нас больше всех. И зашьет, бывало, что попросишь, и поможет решить задачу, и утешит, когда тебе покажется, что ты самая несчастная.

1-я подруга. Мы не опоздали?

2-я подруга. Вы правда будете драться с ним?

3-я подруга. Господин Ланцелот, вы не можете устроить нас на крышу ратуши? Вам не откажут, если вы попросите. Нам так хочется увидеть бой получше.

1-я подруга. Ну вот, вы и рассердились.

2-я подруга. И не хотите разговаривать с нами.

3-я подруга. А мы вовсе не такие плохие девушки.

1-я подруга. Вы думаете, мы нарочно помешали попрощаться с Эльзой.

2-я подруга. А мы не нарочно.

3-я подруга. Это Генрих приказал нам не оставлять вас наедине с ней, пока господин дракон не разрешит этого...

1-я подруга. Он приказал нам болтать...

2-я подруга. И вот мы болтаем, как дурочки.

3-я подруга. Потому что иначе мы заплакали бы. А вы приезжий и представить себе не можете, какой это стыд – плакать при чужих.

Шарлемань выходит из ратуши.

Шарлемань. Заседание закрылось, господин Ланцелот. Решение об оружии для вас вынесено. Простите нас. Пожалейте нас, бедных убийц, господин Ланцелот.

*Гремят трубы. Из ратуши выбегают слуги, которые расстилают ковры и устанавливают кресла. Большое и роскошно украшенное кресло ставят они посередине. Вправо и влево – кресла попроще. Выходит **бургомистр**, окруженный членами городского самоуправления. Он очень весел. **Генрих**, в парадной ливрее, с ними.*

Бургомистр. Очень смешной анекдот... Как она сказала? Я думала, что все мальчики это умеют? Ха-ха-ха! А этот анекдот вы знаете? Очень смешной. Одному цыгану отрубили голову...

Гремят трубы.

Ах, уже все готово... Ну хорошо, я вам расскажу его после церемонии... Напомните мне. Давайте, давайте, господа. Мы скоренько отделаемся.

Члены городского самоуправления становятся вправо и влево от кресла, стоящего посередине. Генрих становится за спинкой этого кресла.

(Кланяется пустому креслу. Скороговоркой.) Потрясенные и взволнованные доверием, которое вы, ваше превосходительство, оказываете нам, разрешая выносить столь важные решения, просим вас занять место почетного председателя. Просим раз, просим два, просим три. Сокрушаемся, но делать нечего. Начнем сами. Садитесь, господа. Объявляю заседание...

Пауза.

Воды!

Слуга достает воду из колодца. Бургомистр пьет.

Объявляю заседание... Воды! *(Пьет. Откашливается, очень тоненьким голосом.)* Объявляю *(глубоким басом)* заседание... Воды! *(Пьет. Тоненько.)* Спасибо, голубчик! *(Басом.)* Пошел вон, негодяй! *(Своим голосом.)* Поздравляю вас, господа, у меня началось раздвоение личности. *(Басом.)* Ты что ж это делаешь, старая дура? *(Тоненько.)* Не видишь, что ли, председательствую. *(Басом.)* Да разве это женское дело? *(Тоненько.)* Да я и сама не рада, касатик. Не сажайте меня, бедную, на кол, а дайте огласить протокол. *(Своим голосом.)* Слушали: о снабжении некоего Ланцелота оружием. Постановили: снабдить, но скрепя сердца. Эй вы там! Давайте сюда оружие!

Гремят трубы. Входят слуги. Первый слуга подает Ланцелоту маленький медный тазик, к которому прикреплены узенькие ремешки.

Ланцелот. Это тазик от цирюльника.

Бургомистр. Да, но мы назначили его исполняющим обязанности шлема. Медный подносик назначен щитом. Не беспокойтесь! Даже вещи в нашем городе послушны и дисциплинированы. Они будут выполнять свои обязанности вполне добросовестно. Рыцарских лат у нас на складе, к сожалению, не оказалось. Но копье есть. *(Протягивает Ланцелоту лист бумаги.)* Это удостоверение дается вам в том, что копье действительно находится в ремонте, что подписью и приложением печати удостоверяется. Вы предъявите его во время боя господину дракону, и все кончится отлично. Вот вам и все. *(Басом.)* Закрывай заседание, старая дура! *(Тоненьким голосом.)* Да закрываю, закрываю, будь оно проклято. И чего народ все сердится, сердится, и сам не знает, чего сердится. *(Поет.)* Раз, два, три, четыре, пять, вышел рыцарь погулять... *(Басом.)* Закрывай, окаянная! *(Тоненьким голосом.)* А я что делаю? *(Поет.)* Вдруг дракончик вылетает, прямо в рыцаря стреляет... Пиф-паф, ой-ой-ой, объявляю заседанье закрытым.

Часовой. Смирно! Равнение на небо! Его превосходительство показались над Серыми горами и со страшной быстротой летят сюда.

Все вскакивают и замирают, подняв головы к небу. Далекий гул, который разрастается с ужасающей быстротой. На сцене темнеет. Полная тьма. Гул обрывается.

Смирно! Его превосходительство как туча парит над нами, закрыв солнце. Затаите дыхание!

Вспыхивают два зеленоватых огонька.

Кот (*шепотом*). Ланцелот, это я, кот.

Ланцелот (*шепотом*). Я сразу тебя узнал по глазам.

Кот. Я буду дремать на крепостной стене. Выбери время, проберись ко мне, и я промурлыкаю тебе нечто крайне приятное...

Часовой. Смирно! Его превосходительство кинулись вниз головами на площадь.

Оглушительный свист и рев. Вспыхивает свет. В большом кресле сидит с ногами крошечный мертвенно-бледный пожилой человек.

Кот (*с крепостной стены.*) Не пугайся, дорогой Ланцелот. Это его третья башка. Он их меняет, когда пожелает.

Бургомистр. Ваше превосходительство! Во вверенном мне городском самоуправлении никаких происшествий не случилось. В околотке – один. Налицо...

Дракон (*надтреснутым тенорком, очень спокойно*). Пошел вон! Все пошли вон! Кроме приезжего.

Все уходят. На сцене Ланцелот, Дракон и кот, который дремлет на крепостной стене, свернувшись клубком.

Как здоровье?

Ланцелот. Спасибо, отлично.

Дракон. А это что за тазик на полу?

Ланцелот. Оружие.

Дракон. Это мои додумались?

Ланцелот. Они.

Дракон. Вот безобразники. Обидно, небось?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся бы. Страшно вам?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Вранье, вранье. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил.

Ланцелот. И все-таки они люди.

Дракон. Это снаружи.

Ланцелот. Нет.

Дракон. Если бы ты увидел их души – ох, задрожал бы.

Ланцелот. Нет.

Дракон. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за калек. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам – человек околеет. А душу разорвешь – станет послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.